



Дмитрий САВИЦКИЙ

Вальс

для К.

Дмитрий САВИЦКИЙ

Вальс
для К.

ПАРИЖ
1987

Copyright by D.Savitski 1987

**«SYNTAXIS»
8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay-aux-Roses
France**

Вальс для К.

Я зашел к Николаю Петровичу просто так, без всякой цели. Был лиловый, наполненный высоким дрожанием вечер. Весна уже вовсю хозяйничала в Москве. По крайней мере, старые улочки Сретенки были пьяным-пьяны. Девушка с веточкой вербы попалась мне у самых его дверей. Она и сама была как эта веточка: распушенная, зябкая, сама из себя выглядывающая. Я постучал в грязное окошко — Николай Петрович жил в Луковом переулке, в коммунальной квартирке, в кривобокой комнатке в конце мутно-желтого коридора. Коридорчик валился набок, половицы скрипели и норовили куда-то выпрыгнуть, лампочка была отвратительно голой, и запах там был многих лет совсем не счастливой жизни. Кислый, угрюмый запах...

У Николая Петровича был кот: громадный, совершенно черный котофей. Снимая его откуда-ни-

будь со шкафа, Николай Петрович, он же Коленька или Никуша, обычно говорил: "У этого кота вес дорогой колбасы".

Открывая дверь, я уже знал, что мурлыка трется спиной об этажерку, сыплет бенгальские искры, ждет, мерзавец, чтоб ему почесали за ухом. Там у него солиднейший шрам — драчун он, этот славный котофей.

Николай Петрович сидел в рыжем пятне света. Пыльный дореволюционный абажур с кисточками низко висел над столом. Комната Николая Петровича для непосвященного напоминала книжный склад. Все, кроме маленького островка вокруг стола и вечно разобранной постели за драной ширмой, было заставлено книгами. Конечно, был шкаф, были полки, был падающий накрененный стеллаж, но это было как бы нормально. Николаю же Петровичу места не хватало, и весь пол был заставлен стопками, пирамидами, башнями книг. Между этих завалов по узенькой тропиночке вслед за хвостом котофея я и прошел к столу. Неловко волочить за собой описание, но стол был как бы уменьшенной копией комнаты: свободные островки, тропиночки, а остальное было занято бумагами, вавилонами писем, виффлемами каких-то даров, передвигать которые категорически возбранялось. Николай Петрович протянул мне через стол свою худую, очень бледную руку. "Здравствуйте, Охламонов, — сказал он совсем не московским голосом. — Хотите чаю?"

Двигался он в своих папирусных джунглях за-

мечательно: пригнет плечико, чтоб не сшибить криво высовывающийся последние полгода фолиант сапожника Якова Бема, перескочит возле окошка через связку детских сказок и вот уже включает старинную спиральную плитку, тычет ножом в проводки, льет из графина запасливую воду в кружку — на кухню он не выходит, терпеть не может. Дело в том, что Коленька, Никуша, грустного, а скорее затемненного, что ли, вида человек лет около тридцати, — поэт. Однажды он вышел на коммунальную кухню за чепухой: спички или соль — и, к несчастью, попал в скандал, самый обычный, когда размахивают руками, говорят обидные слова, трогают за плечо и так далее. И Николай Петрович совершенно, как он сказал, потерял *строчку*. Начисто. Он просидел над пятном бумаги всю ночь, но убитая строчка не вспоминалась. С тех пор варил он чай и картошку на подоконнике в комнате.

Больше всего неприятностей ему доставляли женщины, особенно случайные. Они приходили в совершенный восторг от его комнаты, задавали один и тот же идиотский вопрос — что-то вроде "а где можно записаться в эту библиотеку?.." — и пытались что-нибудь вытянуть из-под самого низа, так что Николай Петрович, зеленея, бросался спасать наклонившуюся башенку восточной поэзии, готовую не только засыпать тропинку, но и сбить еще пару таких же соседних строений. "Ах, Бога ради, не трогайте!" — кричал он, и дамы обычно останавливались. Их удивлял тон его голоса, они чувствовали,

что это серьезно. "Я очень боюсь, — объяснял он им, — неизвестных перемещений". Николай Петрович — и в этом вся суть — все эти книги прочел. И абсолютно точно знал, где какая книга лежит.

* * *

Поднимая глаза от этих строчек, я, может быть, должен был бы извиниться за некоторую расплывчатость и соскальзывание, но само время тогда было замутненное, многое еще не проявилось, и сам воздух, как тромбами, был забит всеми этими "как-то", "где-то" и "вроде бы". Мало того: и будни, и праздники были изрешечены пулеметными очередями многоточий. Мы жили, не довоплощаясь.

* * *

Вода пропела свою коротенькую песенку и была влита в грязного цвета чайник. "Охламонов, — попросил хозяин, — умоляю вас, не двигайте ничего на столе..." Я не обижался. Фраза была ритуальной. Я лишь однажды подвинул поближе из-под грота каких-то бумажек портрет женщины с высокой трудной прической и затуманенными глазами. Лицо было совсем не здешним, такие не попадают на наших улицах. Я засмотрелся — в тот раз мы поссорились.

Николай Петрович, высоко поднимая ноги в опасных местах, тропиночкой вернулся к столу и поставил на островок подносик. Не глядя, он нырнул рукою куда-то назад и вытащил две серебряные стопочки. Водка же была под столом. Теплая, конеч-

но... Мы, молча раскланявшись, ткнули. Кот, прекрасно знавший, что можно и чего нельзя, с мягким стуком вспрыгнул на стол. Кося на хозяина глазами, он попробовал лапой бумажный наст, ему разрешилось, выпустил, потягиваясь, турецкие свои когти и наконец улегся. За стеною кто-то взял фальшивый гитарный аккорд. Слышно было, как переулком промчалась скорая помощь. "А у меня были, знаете ли, проблемы с Катенькой, — сказал хозяин, — все же, она слишком молода для меня. Она бесится! Она, Охламонов, в прошлый раз так хохотала в постели, что упала! И конечно, прямо на Карамзина! Был кошмар — вся история русской империи сособочилась и рассыпалась. Но это что, Охламонов, это чепуха... У нее, право, кровь играет. Я пополз приводить все в порядок; конечно, как был, нагишом. Так эта милая сумасшедшая, мой друг, она, знаете ли, как вам объяснить, она на меня накинулась прямо на книгах! прямо на русской истории... Я думал, она шутит, а потом увидел — глаз у нее, если можно так сказать, как губа, закушен: туманный и серьезный. И мы, знаете ли, на русской истории, и она, как всегда, в крик..."

Николай Петрович опять стал разливать водку. Лица я его не видел. Оно взошло куда-то, скрылось за кисточками абажура, опущенными седой многолетней пылью. Но рука в разлохмаченной чистой манжете крупно дрожала. "У меня и так конфликт с соседями, — продолжал хозяин, — она же знает! Я столько раз просил: Катенька, не могли бы вы в

этот последний момент как-нибудь сдерживаться?.. Она обижается. Говорит гадости. Плачет даже... И все равно кричит! Я бы, знаете, хотел бы ее подушкой, что ли, накрывать. Так, к сожалению, я сам ничего не соображаю — проваливаюсь во что-то совсем другое. А глаза открою и тут же понимаю: она кричала!.. Ну, что тут будешь делать?" И Николай Петрович стал нервно тереть свою бородку. Была она у него совсем китайская — просвечивала насквозь.

* * *

Катеньку я видел несколько раз. Случайные дамы тогда совсем исчезли. И помню, в первый же вечер сердце мое кувыркнулось. Тогда я еще не знал, что у них с Николаем Петровичем бессмертная любовь. Что в ней поражало? Не знаю. Можно сказать — все. Было ей чуть больше шестнадцати, и вот, пожалуй, я нашел: поражало в ней сочетание детской чистоты и совершеннейшего блядства. Увидев меня под абажуром, она, помнится, прямо при Коленке сказала: "Охламонов, ты знаешь, что я никогда (это "нииникогда — ее первый подарок, сплошные взмывающие "и"), никогда не ношу ничего под?" И совсем по-балетному закружилась на опушке между Гоголем и медицинской энциклопедией, вся загорелая под легким платьицем, без всяких там стыдливых полосочек... Николай Петрович тогда повел щекой, словно у него зуб с дыркой, и стал смотреть в стол. Я же совершенно покраснел, и меня бросило в такой жар, что голова, как это

нежное платице, закружилась тоже. "Катя, — сказал тогда хозяин, — я прошу вас перестать". А потом поднял ко мне лицо и совсем тихо добавил: "Охламонов, если она начнет вас трогать, не обращайтесь внимания. У нас с ней бессмертная любовь".

* * *

Мы допили водку и принялись за чай. Николай Петрович покупал чай на черном рынке. Он вечно что-то смешивал, пересыпал, принохивался. "Чай, — говорил он, — нужно заваривать плюющимся кипятком. Запомните это, мой друг. Но главное, выдержав его минут пять, немедленно переженить!" И я смотрел, как, не капнув ни разу, Николай Петрович занимался "пережениванием". Для этого он отливал из чайника полную чашку густой, кирпичного цвета заварки и быстренько, экономя рвущийся из-под крышечки пар, вливал обратно. Обряд был закончен.

Иногда он спрашивал: "Охламонов? Хотите стихов?" И отказаться было бы убийственно, впрочем мне всегда нравилось то, что он писал. Катенька обитала в его строчках последнее время. Но запомнить его стихи я не мог. Лишь однажды пристало раз и навсегда что-то вроде:

Ночь стоит за окном в старом черном пальто
нараспашку
Снег течет ей на плечи, на жалкую сонную грудь...

Впрочем, не берусь утверждать, что удержал эти строчки в сохранности.

* * *

”Как ваша жизнь? — спросил хозяин, — отсняли что-нибудь новенькое?” Надо сказать, что я фотограф. Не такой, как где-нибудь на Петровке, в фотоателье: ”Поднимите подбородок. Не моргайте. Щелк. Два рубля. Щелк. Три двадцать в кассу”. Нет. Я снимаю жизнь. Как она есть. В неприбранном виде. Конечно, это воровство. Но не вуаерство. Однажды одна дама из колючих умниц сказала мне: ”Вы вуаер, Охламонов, вы вечно подглядываете. Вот вы и сейчас смотрите на меня и думаете, какая я там, за пуговицами...” Это была совершенная неправда. Я несогласен. Вуаер лезет через дырку в заборе, отодвигает штору на окне. Я же снимаю лужи после дождя, пьяниц на Тишинском рынке, людей на эскалаторе метро, листья опавшие в парке... И если в этих листьях мне попадается чье-то голое колено — так это же судьба... Я же не знал, что там парочка. Меня интересовал вид заброшенной аллеи. Да к тому же, я чаще всего работаю телевиком — он сплющивает пространство, смещает что-то, из банального каждодневного устраивает сон. Что касается той дамы, то пусть ее расстегивает кто-нибудь другой. Я бы, будь на то моя воля, пуговиц бы прибавил. Хоть это и жестоко.

* * *

— Что нового? — отвечал я. — Право же, не знаю. Вот предлагают взять ученика... Нет ли у вас сахара?

Спрашивать сахар к чаю, я имею в виду, к чаю, который заварил Николай Петрович, было чем-то

вроде преступления. Но что делать? Я ужасный сластена. Например, когда мне грустно или нехорошо, я покупаю шоколадный торт "Отелло", который всегда есть в нашей булочной, и съедаю его за один раз, ложкой, стоя у окна, разглядывая всегда одно и то же — трамвайную остановку. В "Отелло", между прочим, четыреста пятьдесят граммов.

— Ученика не советую. — Николай Петрович встал за сахаром. — Замучаетесь. У меня вот были два начинающих поэта. И знаете? Один ставил худшие слова в наилучшем порядке, а второй наоборот: наилучшие в худшем. Если бы они были сиаемскими близнецами...

— Я понимаю, — взгрустнул я: ученик — это все же дополнительные деньги, — но я в последнее время чувствую себя как-то смутно, как бы это сказать — вот когда объектив на морозе вдруг запотеет и ни черта не видно...

— Да? — хрустнувшем голосом спросил Николай Петрович, — вот и я тоже... — И он, привстав, опять же вслепую потянулся на верхнюю полку за сахаром и пристально на меня посмотрел. — Со мною, Охламонов, происходит что-то странное. Раньше я думал, что это ловушка возраста, тупик. — Он говорил все медленнее и вдруг совершенно явственно стал приподниматься в воздухе и повис сантиметрах в двадцати от пола. Я видел его старый чемодан под кроватью! Николай Петрович, я боюсь сказать, *шаловливо* раскачивался, прочно вися, и разводил виновато руками... Самое странное, что я воспринял

это без удивления. Лишь сердце дало перебой, да где-то сбоку кот соскочил со стола и помчался к окну...

— Это совсем не сложно, Охламонов, — сказал Николай Петрович, опускаясь. Я взял из его рук сахарницу. Глаза его улыбались.— Хотите, я вас научу?

* * *

Через месяц, когда уже вовсю цвела черемуха, мы отправились с Николай Петровичем за город. Электричка была битком набита, и мы стояли, тесно зажатые, в тамбуре. Какой-то дядя уже раза два наступил мне на ногу. Когда на Чистопрудной народу прибавилось и меня совсем прибило к толстяку, я, оглядевшись, чуть-чуть приподнялся над заплыванным полом и завис. Николай Петрович, куривший папиросу, тут же дернул меня за рукав: "Не дурите, — сказал он, — мы же договорились".

Первые уроки были сплошным сновидением. Я выслушивал Николай Петровича, пытался уразуметь хоть часть его слов, смотрел, как он внутренне собирается, как пробегает легкая судорога по его лицу, как отрывает он первый миллиметр, как легко идет выше... Я слушал его терпеливые повторы, когда он, по-шагаловски лежа в воздухе, рассказывал мне о соотношении воли и тела, о внутренней, а не внешней точке опоры. Я пытался нащупать что-то внутри себя, абсолютно слеп, проваливался, соскальзывал, упирался во что-то зловещее, надорванное, выныривал в свет рыжего абажура, под пытливый взгляд учителя. Он менял тему, рассказывал

мне о Гоголе, о Булгакове, он укладывался на воздухе, на сизых слоях табачного дыма с томиком "Мастера и Маргариты", полы его пиджака болтались надо мною, из дырки кармана сыпались сигаретные крошки или звонко выскакивала монета, и читал странным своим голосом страницы полета Маргариты, стремительные, под углом атаки наклоненные строчки.

— Она, Охламонов, — говорил Николай Петрович, — была ведьмой. А это совсем другая опера. Если хотите, они летают совсем в другом качестве. И не то чтобы у них другая *техника*, они просто в *другом* двигаются. Такая красавица пролетит тебя насквозь, и обычно отделаешься головной болью или радикулитом... Но вот он, автор, слышите, Охламонов? Он знал про это гораздо больше, чем написал... А уж Гоголь и подавно...

В первый раз я с каким-то стоном не приподнялся, а выскочил в воздух — я так сильно ударился в потолок, что с полчаса лежал на рассыпанных книгах в обмороке. Николай Петрович, бледный, напуганный, стоял надо мною с мокрым полотенцем, а потом сидел на корточках, оттирая с моего лица известковую пыль, пудрой запорошившую все вокруг.

— Голубчик, — сказал мне учитель, когда я немного пришел в себя и смог потрогать мягкую солидную шишку на голове, — я же вас предупреждал! Одно ложное волевое движение — и вы выйдете в эфир не физически, а психически. Ваша астральная пуговина не выдержит, и вы больше не вернетесь в

тело. Вы меня не только огорчите, но и поставите в дурацкое положение. Что мне прикажете делать с вашей оболочкой? Соседи, милиция, прокурор с откормленной ряшкой... Весь этот бред... Поймите, я не приглашаю вас путешествовать в астрале; давайте обойдемся без вульгарного оккультизма, без коктейбельских штук... Я вас учу простой вещи: ле-тать!

Мы сошли на маленькой станции, опушенной свежей зеленью. Дорога тащилась через еще пустой дачный поселок, выбегала в поле и спотыкалась о лес. Сосновые иглы мягко пружинили под ногами. Вскрикивала от удара ногой консервная банка — расплескивая бывший снег, криво летела в кусты. Лес кончился. Подоженная вечерним солнцем, плоско лежала река. Если присмотреться, она вся ходила желваками, крутила воронки, по секрету убегала в густеющую даль. Мы пошли краем жирно распаханного поля; невдалеке отходила ко сну деревенская церковь. Малиново польхал крест. Вокруг не было ни души; был тот час суток, когда от реальности остается лишь дрожащий вопросительный знак.

Николай Петрович выбрал росистую уютную лужайку, скрытую кустами орешника.

— Охламонов, — попросил он, — не увлекайтесь, не летайте высоко. Помните, что я вам говорил. Особенно опасны линии высоковольтных проводов. И большие пространства воды. И не бойтесь ничего. Если вы хоть на долю секунды по-насто-

ящему напугаетесь, вы понимаете? Это будет конец!.. — Николай Петрович поправлял, нахлобучивая поглубже, свою весеннюю шляпу. — Просто, не волнуясь, ложитесь на воздух. Взлетать стоя всегда труднее. Да и для сосудов нехорошо... Ложитесь и ничего не бойтесь!

Я наклонился вперед. Между мною и первой травой с проклюнувшимися уже, неизвестного цвета цветами была упругая живая сила. Я лег. Я просто лежал очень низко над густо пахнущей землей и раскачивался. Я мог повернуться на спину. Я мог бесформенно, как носовой платок, взмыть вверх одним рывком. Я мог проваливаться, словно откупоривая дыры в воздухе, в любом направлении. Скосив глаз, я увидел Николай Петровича, все еще стоящего на лужайке. Подбадривающим жестом он рисовал в воздухе круг. По спирали, захлебываясь уплотнившимся дыханием, я пошел вверх. Шляпу моего учителя качнуло и отнесло в сторону. То, что я испытывал, с трудом можно было назвать радостью. Это был полет, освобождение, слезы, застилающие расширяющийся взор, волосы, сошедшие с ума; это была новая жизнь — в миг став старше, ничего не потеряв, я навсегда заразился каким-то недоступным ранее знанием.

Николай Петрович летел чуть ниже и сзади меня. Пальто его разметалось. Руки были растопырены. Я понял, что он боится мой первый взлет. Церковь, лесок, поляна, поле, река, — все стремительно уменьшалось, проваливалось, ложилось набок, вставало

дыбом. "Хорошо, Охламонов, — кричал Николай Петрович, — очень хорошо! Я вами доволен..." И хотя вечерело все быстрее и внизу разгорались грустные огоньки поселка, край земли все еще вздымал клубы золотого света. Я вынул из кармана, неловко кувыркнувшись, перчатки. Все же наверху было слишком холодно. Лето лишь начиналось.

* * *

Возвращались мы в полной тьме. Николай Петрович, намотав на руку мой шарф, разрешил долететь до самой станции. Он выбрал этот подмосковный район по простой причине: рядом была какая-то секретка, опутанная колючей проволокой, — вышки, рельсы, прожектора, — и никакие самолеты здесь не летали.

Знаете, что такое возвращаться на землю? Я стоял, раскачиваясь, в сыром мраке; к ногам был приделан огромный свинцовый шар.

Чуть позже мы сидели на станционной скамейке. Вместо сердца была какая-то каша. "Вы, мой друг, — говорил Николай Петрович, и потрескивающая папироска высвечивала его отсутствующее лицо, — сожгли сегодня адреналина на пятилетку вперед. До следующего вторника я запрещаю вам даже домашние упражнения". И мы заговорили о пустяках: о ключах, которые теперь нужно, конечно же, как-то прищипливать, о ветках ночных деревьев, способных просто так выколоть глаз, о телевизионных антеннах, совсем некстати выныривающих из упругой ночи.

* * *

Кто вернет мне те невероятные месяцы? Если вливать в воздух шампанское, так чтобы само пространство в итоге радостно опьянело, пошло колючими пузырями... нет, не умею объяснить. Был момент, когда казалось, все рухнет. Не то чтобы я разучусь, вовсе нет, об этом не могло быть и речи. Катастрофа надвигалась в наземной жизни, нависла, все перепутала и вдруг рассыпалась, взорвалась ночной грозой, обернулась смешливыми колокольцами — Катенька перементнулась ко мне. Да-да! Появилась однажды после завтрака, с настороженной улыбочкой, с кожаным древним саквояжем, стала в дверях и сказала: "Охламонов, я пришла жить с тобой!" Не к тебе, а с тобой... Я брился, и все выглядело по-идиотски: полщеки, занесенные снегом, вытарщенный воспаленный глаз, опасная бритва на напрягшейся шее, Катенька, на которую я смотрел через зеркало — вещь, которой я, кстати, очень боюсь... "Но как же Коленька?" Я наскоро утирался полотенцем совсем, знаете ли, не первой свежести. "Он меня к тебе отпустил, — сказала Катенька. Она смотрела на меня прямо и вещей своих на пол не опускала. — Он сказал, что давно это предвидел, что даже так лучше..." Я сделал жест, словно нырял в поклоне. Она еще серьезнее посмотрела на меня, еще куда-то глубже, может быть даже в какой-то другой день, и не поставила свой саквояжик, а просто разжала пальчики: буф! все шлепнулось на пол. "Охламонов, — сказала она, — ты живешь, как анахорет, ты живешь, как тень Коленьки. Тебе нужно дово-

плотиться". И она повела головкой. Мне стало стыдно моей квартиры, грязных обоев, разбросанных вещей, неделю уже не убранной посуды на письменном столе. Слава Богу, шторы были чуть отдернуты — я редко открывал окна, вечно или проявлял, или печатал.

Секунду простояв в полуобмороке, со звоном в ушах, я бросился было лихорадочно подбирать вещи, и от одного моего прохода полукругом закровоточил весь этот мшистый ералаш, но Катенька, все еще странная, все еще чужая, подошла вплотную, так что груди ее укололи, прожгли меня, — я был в то утро как-то еще не одет, вернее весь расстегнут, — и сказала то, чего я совсем не ждал: "Ты будешь снимать меня голой? да? совсем-совсем?" И не дожидаясь ответа, зависая, вся закручивалась: "Он меня тоже научил. Он такой гениальный! Он сказал, что только меня и тебя. Что только мне и тебе". И она как-то совсем по-другому, я боюсь сказать: поженски, потому что если вы никогда этого сами не пробовали, вы меня засмеете, поднялась к веревочкам, на которых сушились пленки вчерашних этюдов.

* * *

Ночью ворочался сухой окраинный гром. Картавил. Играл в свои кегли. К полночи тьма загустела, свернулась тревожным клубящимся молоком. Лимонные молнии втыкались совсем как попало. Хлопали окна. Тополь внизу за окном трясся в ознобе. Хлынуло. Хлынуло так, словно всю жизнь собиралось прорваться. Щедрый, нездешний потоп.

* * *

У меня сохранились фотографии того периода. Когда однажды, уже в Париже, в припадке тоски я показал один снимок маститому профессионалу, он долго разглядывал, морщился, сыпал сигаретой на ковер, попросил негатив... "Я отдам вам половину рэвской премии, — изрек он в итоге, — если вы объясните мне, как это сделано". Я развел руками. Что я мог ему объяснить? В комнате, насквозь пробитой солнечными лучами, среди навсегда-таки утвердившегося беспорядка — разбросанных книг, косо приколпленных портретов, веревок с ее бельем и моими пленками, в комнате, где на шкафах еще жили не снесенные в комиссионный серебряные сахарницы и уцелевшие от дипкорпуса иконы, — в воздухе лежала, раскинув руки, чудесная, совершенно голая Катенька. Ее волосы — она только что потрянула головой — золотой кометой раскручивались в воздухе того, до изнеможения счастливого дня. Никакого трюка не было.

В столе лежал большой пакет наших московских фотографий: Катенька в ванной, лежащая плоско, как на сеансе факира, один сосок сбился и подсматривает в объектив; рядом с нею в плаще и шляпе стою я (камера работает на автоспуске) и держу за шею змею душа — искристые нитки конусом летят вниз, капли на ее коже все еще не слизнуло время... Катенька в лесу, в сатиновом платье, в остром пике тянущаяся за смазанным ветром цветком; шмель в роскошной не по сезону шубе пришелся ей ровно на запястье — жужжащие лесные чашки. Или вот Катенька в лунную (снимал при боль-

шой экспозиции) ночь; какая-то совсем уже астральная, словно намокшая светом полнолуния; на снимке она размножена на прозрачные голубые движения — кульбиты, повороты, шелковистые мелькания локтей и колен.

Я не могу этого вынести — я имею в виду описания не снимков, а отмененных календарем дней... Мне лучше бы сжечь все однажды.

Метр, почетный председатель многих конкурсов и комиссий, думая, что приятно выведет меня из транса, забыв уже про половину своей фотопремии, предложил купить для журнала "Глаз" этот московский снимок. Он даже предложил сумму, в несколько раз превышающую любые мечты. Но я отказался. Я не мог не отказаться. Снимок теперь лежал на кипе фотографических журналов. Чернобелая Катенька со слезою пупка, с прозрачной опушкой всегда как бы воспаленной дельты, Катенька, глядящая так реально, так пронзительно реально, что я чувствовал слабость во всем теле, — Катенька отныне была недоступна.

* * *

Но возвращаясь назад, сверху падая в то цветочное лето, я вижу нас двоих, совершенно счастливых, молодых, не то чтобы красивых — она бесспорно была красавицей, — а с печатью наших совместных полуобморков. *Теперь* я вижу тот самый перст судьбы с обкусанным ногтем, воткнувшийся в те дни, как дорожный указатель (нынче, ерничая, я все же думаю, когда же наступает тот момент, когда к

указательному подбираются остальные четыре брата и вся семейка сворачивается в тяжелую фигуру?), потому что все детали той жизни, вся обстановка тех дней словно вышла из повиновения и немоты и кричала, разинув рот... *Нынче* мне кажется, что если люди в том обществе были заморочены, вывернуты на огрубевшую сразу свою изнанку (вот она, сумасшедшая чувствительность той жизни!), а значит, изнутри подбиты сереньким партийным драпом, *нынче* мне кажется, что мы *размагнитились* одними из первых.

* * *

Боже! она была баловница. Сколько раз мы делали это в воздухе! В первый же — стены, ломая прямые углы, кинулись нас ловить, лопнула струна подвешенной криво картины, и та съехала, навсегда, вниз, бутылка пьяной вишни отправилась на пол со шкафа, грохнулась, но не разбилась; ссадина на моей спине не заживала неделю — это створка окна, улучив момент, врезалась между лопаток. Нужно было учиться уважать лампу, помнить о гвоздях, нужно было умудриться в итоге не грохнуть на заставленный банками, чашками, кофейником подоконник. Однажды ночью мы заснули обнявшись в ужающей духоте, и я проснулся не знаю через сколько прошелестевших минут, чувствуя ее всю, нежно меня оплетающую, жаркую, влажную, — проснулся от резкой тревоги. Секунду я ничего не соображал, лишь где-то близко вспыхивали и гасли смертельно яркие капли, да возле шеи что-то царапалось и тер-

лось. В такие мгновения самое трудное разобраться, где верх и где низ. На мое счастье, бритвочка месяца резала жирные полуночные тучи. Снизу раздался ко-ржавый скрежещущий звук и брызнуло снопом элек-трических искр. Я рванулся прочь, сжимая ее, про-сыпающуюся — это была улица, нас вынесло через окно, мы почти лежали на проводах трамвайной ли-нии.

С той ночи я натянул сетку на окно, но скоро мы перестали спать в воздухе: осень была стреми-тельной, с ледяными затяжными дождями, одеяло, как ни старались мы в него завертываться, соскаль-зывало, а потом в конце вспыхнувшего рыжим по-жаром бабьего лета грянул однажды проклятый те-лефон, и мы узнали, что Коленька арестован.

* * *

Слухи, что в стране появились люди, умеющие летать, появились как-то сами собой. Первый раз я услышал о летунах в очереди. Давали каменных, пенсионного возраста кур. Две бабы, совершенно скифские, но запрятанные в ватные пальто, качали головами и выдували пузыри довольно-таки стран-ных фраз. Услышав — "...и он, прости Господи, как взмоет в небо", — я придвинулся поближе. Рас-сказчица мелко крестилась, товарка ее, с раз и на-всегда поджатым лицом, однообразно кивала голо-вой. "И летит он, Маня, как ангел! Народ, конечно, бежит... Милиция, знамо дело, за левольверы, стре-лять, а он уж выше памятника-то Пушкина... А один, совсем в гражданском пальте, как пальнет с двух

рук — и попал! Подбежали, а он уж не дышит. Ну, увезли, конечно... Изучать. Может, не наш какой. С виду-то, Мань, обыченский. Летит над зонтами. В брюках. Семеновна, из бакалеи, говорит, что аж бо-тинок с дыркой...”

Я разволновался. Но слухи наползали со всех сторон. Городская молва по привычке наградила летающих старинным геройством. Судя по рассказам, один залетел в ломбард напротив прокуратуры и на глазах у обалдевшей толпы унес полную кепку золота. Про другого рассказывали, что он вынес двадцать пять тысяч рублей в ассигнациях через открытое окно писательского дома в Лаврушенском. Окно, говорили, было на шестом этаже. Дура-домработница открыла проветривать и трепалась по телефону.

Слухи множились, и однажды в кафе на бульваре, куда я ходил с целью подцепить что-нибудь свеженькое, мне повезло. Двое молодых людей, пересыпая разбавленную портвейном речь фразами вроде “адекватно, старик”, “я не из суггестивных” и особенно мне запомнившимся “а у них в семье давно уже бермудский треугольник”, принялись обсуждать причины появления летающих людей. Конечно, сейчас все это звучит как пародия, как помесь куриной слепоты с дальновзоркостью, но в те времена я еще воспринимал тексты впрямую. “Старик, — говорил первый, — это не массовый психоз, организованный Лубянкой, чтобы отвлечь народ байками от ситуации. Нет. Люди, загнанные в колоссальнейший социальный тупик, без всякой возмож-

ности выхода взрывом, начинают мечтать о сверхреальном. Пожалуйста, рождается идея левитации. И это не в первый раз. Вспомни Индию, летающих сфинксов Египта, наконец, библию... История уже проходила через подобные периоды. Людям нужны надежды, фантазии, они оскоплены, старина, карл-марксовым ножом материализма... Они хотят вернуть себе божественную природу. Быть как ангелы... Начинается мечта о полете!.. Наливай..." Второй был мрачнее: "Какие мечты? Чего ты несешь? Геолог на Урале, сбитый вертолетом, — это мечты? Пьяная компашка, не желавшая расплачиваться в ресторане останкинской телебашни и смывшаяся через окна, — это тоже мечты? А нарастание информации, учащение случаев — это что? Я тебе скажу, все это звучит более чем реально". "Боюсь, — напал пер- вый, — современный миф обрастает современными деталями. Совы сублимируют свою тоску в подвернушемся имедже... А уж позже все уплотняется до пуговиц, до конкретных деталей". "Старик! — взры- вался второй, — а реакция властей? Она однозначна! Думаешь, все эти референтские группы и исследова- тельские центры глупее нас с тобою?.. Наливай... У них уж точно информация получше нашей. Они, я думаю, относятся к слухам более чем серьезно. А пулеметы на крышах? Идиот! А телекамеры, задран- ные теперь вверх. Я не гнилой мистик, но представь себе, что мы действительно мутанты. Нас проволокли, старик, через отвратительно жестокий период исто- рии. Естественно, что жизнь не видит выхода из

этого передового тупика. Мир без всяких там хоум действителдно подошел к концу. И божественная, в чем я с тобою абсолютно согласен, природа подбрасывает нам что-то новое! спасительное!.. Наливай... Что большее чудо: то, что мы ходим, или — летаем? С точки зрения рыбы, разницы нет. А рыба — это, прости, не сверж, а реальность!" — И он ткнул алюминиевой вилкой в тарелку с треской: был четверг. "Может быть, участвовавшие случаи левитации это и есть высшая форма социального развития, к которой общество — еще по-маленькой — приходит через дремучий коммунизм?" "Иди ты знаешь куда! — не выдержал вдруг первый. — Ты несешь уже ахинею, как какой-нибудь мудака с кафедры марксизма-мудаизма! Если я с тобою в чем-то согласен, так это в том, что людям все осточертело... И если они вправду начинают летать, так это с тоски и отчаяния..."

Я слушал их пьянеющий разговор в сплошной испарине. Глаза мои совсем расфокусировались и плавали в цветном тумане. Мне многое стало приоткрываться. Я ведь никогда глубоко об этом не задумывался. Была секунда, когда это стало моей жизнью, повседневностью, даром... Я ничего не чувствовал иного, кроме простой возможности упруго двигаться в воздухе. Это была моя (и Катенькина, конечно) секретная свобода. И все!

Они почувствовали меня. Разом обернувшись, оба как-то потемнели, и первый — очкарик с кривой бородой — фальшиво сказал: "А она ему сама предложила. В параднике. Дома у нее муж. Как всегда,

вдребезень...”

Меня они приняли за стукача.

Уходя из кафе, спиною чувствуя их взгляды, я приподнялся в дверях, повисел малость, чтобы они успели проморгаться, ткнул дверь и вылетел прочь. А чем еще я мог им помочь?

* * *

Вдоль Садового кольца ветер гнал сухие скорчившиеся листья. Лужи подмерзли. Вечерняя толпа тяжело неслась вдоль по улице, кружилась серыми воронками, выплевывая потерявших ритм одиночек. Тяжело стоял, расставив сапожища, усатый милиционер. Тяжело взбиралась в автобус молодая еще женщина. Тяжело дышал на углу, отдыхая вместе с громадной, набитой пустыми бутылками авоськой, седой алкаш. Даже пацан из породы воробьев, с рассопливившимся носом, тяжело отрывал от асфальта свои маленькие слоновые ножки... О, если бы на секунду выключили в середине нашего счастливого шарика генератор земного притяжения. Если бы по пятницам вдруг разрешено было терять вес. Я увидел пустые ущелья улиц и рябое от летящих небо... ”Стыдно, — сказал я сам себе, — стыдно, Охламонов, проваливаться в несвоевременный сентиментализм”. Я свернул к Никитским воротам. В проходняшке около музыкальной школы углем на стене было крупно написано: ”КОМУ — НИЗОМ, КОМУ — ВЕРХОМ”.

* * *

Звонок грянул темным заболоченным днем.

Катенька пела в ванной. Ее маленькие постирушки, ее умение хозяйничать без натуг и проблем — вызывали во мне восхищение. Я подошел к телефону. Голос не назвался, но я мгновенно понял, что это коммунальный коленькин сосед, старый хрыч, отставной мудака в чине капитана. "Вашего-то умника, — прогнусавил он, — бумагомарателя забрали куда надо!" И мокро хихикнул...

Это было началом конца. Я не знал еще ничего, но вдоль спины ударила ветвистая ледяная молния.

* * *

Не нужно было быть Спинозой, чтобы догадаться, что Коленьку взяли не за писание стишков, хотя и они были отнюдь не безобидны. Позднее так и выяснилось: дворничиха, штатная ведьма, заглянула вечером в окошко и увидела Николай Петровича, отдыхающего *над* столом. Он дремал, несчастный, раскрытая книжечка в руке грозила соскользнуть вниз, слово сдержала и с мягким стуком упала. Коленька проснулся и вниз головой нырнул за изменницей. Дворничиха отпрянула от запотевшего окна и, сжимая, как древко знамени, растопыренную метлу, бросилась звонить куда надо. В куда-надо давно уже существовал исследовательский центр, занятый проблемами как-надо. Что-то вроде НИИ Сверхреальности... Николая Петровича увезли незамедлительно. Говорят, рядом шли два тяжелых толстяка, скованных с бедным поэтом браслетами — на предмет полета.

* * *

Зарубежные радиостанции на русском языке тоже наполнились невероятными новостями. Би-Би-Си сообщило, что из дипломатических кругов в Москве стала известна недвусмысленная обеспокоенность ЦК ситуацией в стране. Диктор так и заявил, что появление перелетчиков напрямую связано с недовольством и желанием миллионов людей обрести свободу. "Голос Америки" теперь передавал ежедневную пятнадцатиминутку "Крылья свободы", уверяя, что население СССР наконец выходит из периода слабоволия, ослепления и унижения насилием и готово разлететься по всему миру. Ходили слухи, что Вашингтон провел секретные переговоры с союзниками о количестве возможных перелетчиков и методах их адаптации. Предлагалось наконец-то реализовать замороженный в конце семидесятых годов проект создания плавучих искусственных островов. ЦРУ подсчитывало процент потенциальных агентов, внедренных в массу перелетчиков, но оккультный центр имени Суоми Вивеканады в предместьях американской столицы немедленно сделал заявление, что ни один ортодоксальный прислужник режима не будет способен оторваться от земли хотя бы на толщину партийного билета. Западная Германия, не участвуя в спорах, начала строить огромный палаточный лагерь. Около границ стран-сателлитов на ночь теперь зажигались стрелы-указатели. Франция разорилась на цветную иллюминацию в половину парижского неба — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Все эти странности просачивались через брон-

хит моего старенького приемника, но ни одного сообщения об удачном перелете пока не было.

* * *

В январе мы почти не летали. Стало слишком опасно. Да и трудно было в шубах и шапках подолгу оставаться в метельном воздухе. Катенька быстро уставала, снег слепил глаза, нас могли заметить даже в лесу. Катя предложила сшить белые костюмы. Это было бы чудесно, но денег-то у нас почти не было...

* * *

Грянули крещенские морозы. В день Татьяны я точно узнал, где держат Коленьку. Зашел в Луков переулок, соседи с испуганной радостью показали мне опечатанную дверь. Я представлял себе алый сургуч, герб страны наподобие генеральской пуговицы, но вместо этого была полоска бумаги и линючие синие печати. Обыска не было — слишком много книг. Их, говорили, отдадут теперь Ленинской библиотеке. Забрали лишь бумаги со стола да, как ни странно, кота. Насчет кота, впрочем, я не верю. Соседи давно норовили его укокошить. Жалко котюфея... Коленька обвинялся внешне в обычном — в нарушении общественного порядка, хотя формулировки вроде "отрыва от действительности" уже проскакивали. Держать его могли лишь в камере или в лагере с какой-нибудь специальной сеткой. Но и это, в конце концов, было непроходимой чушью. От него хотели лишь одного — как?

* * *

Я ручаюсь за Коленьку. Уверен, что никакие нейрорептики не смогли помочь вытянуть из него те, самые простые, но невероятно глубокие объяснения, которыми он раз и навсегда изменил мою жизнь весной. Коленька был мягок, как воск, любвеобилен, даже нежен, но он, как все, ненавидел происходящее, даже не ненавидел, а биологически не принимал.

Теперь-то я понял, что значили его с Катенькой вдогонку присланные слова — "так будет лучше"...

* * *

Пошли слухи, что страну закрывают всерьез, что налоги будут повышены, водка опять вздорожает, даже цены на китовое мясо будут удвоены, а военный бюджет резко увеличен с целью реализации колоссального проекта: что-то вроде накрытия страны одним гигантским стеклянным колпаком. Были споры об ультрафиолетовых лучах, фотокинезе, всех этих вещах, связанных с солнечными лучами, дыханием и прочим. Мой приятель, летчик гражданской авиации, сказал совершенно наверное, что западные границы уже патрулируются специальными дввоенными самолетами, несущими километровую сетку. Заговорили о проблеме птиц. Запад тоже заворочался совсем по-другому. В НАТО стали опасаться, что советская армия освоит опыт летунов и война примет совершенно иной характер. Возможность совершенно новой и ужасающе конкретной изоляции миров становилась все более реальной. Хотя для меня, дальше Таллина никогда не бывав-

шего, все было один черт... В эти стремительные, растрепанно мелькающие денечки мне и попала в руки довольно сумбурная статья Погорельцева.

* * *

Катенька принесла ее от портнихи, чей муж был кем-то вроде подпольного букиниста, что-то там размножал – Солженицына, Баркова или Штайнера. Он сам переплетал и довольно недорого продавал. От него к нам попадали всяческие новинки, на ночь, на две – рассказик Набокова или статейка диссидента. В обычной жизни букинист служил лифтером.

Катенька сшила себе чудесное хулиганское платьице, в котором, впрочем, нигде не могла объявиться. Объясню, почему. Один знакомый переводчик принес нам как-то приглашение в парк Сокольники на международную выставку пива. Выставка была закрытой, лишь для специалистов, и попасть на нее было трудно. Но конечно же, мы нашли с Катенькой в павильоне всех наших знакомых: и чердачных художников, и подпольных поэтов, и знаменитую мадам Касилову, держательницу полуночного салона, и актеров с Полянки, и даже посла республики Бурунди, аккуратно объявлявшегося на всех вечеринках неофициальной Москвы. К выставке мы шли через огромный заснеженный парк. Был ранний вечер, быстро темнело, сугробы были совершенно синими. Бесчисленные аллеи парка были залиты под каток – километры чудесного катка. Народ шел и падал, падал и шел. Смеялись, ругались и

опять падали. Катенька тоже оскользнулась, упала и ушиблась. Так глупо было идти, смешно перебирая ногами, когда ничего не стоило просто взять и полететь. Меня как-то потрясла тогда эта явная глупость передвижения... Внутри павильона каждая страна устроила бар. Такого мы еще не видели: уютно, играет невидимая музыка, красавицы в фартучках обносят пивом, ни одного мусора, я имею в виду — в форме. Публика была из наших и ихних. Наши — волосатые, в протертых джинсах, в свитерах, а ихние — из министерств и комитетов — тяжелые, костюмные, с маслянистой ненавистью в глазах. Пили они километрами, тяжело пьянели и приставали, ни черта не понимая по-иностранному, к грудастым барменшам. Один, с оттопыренной нижней губой и партийными бровями, говорил приятелю: "Переведи, я ей дам два кило икры... Ну, четыре..."

Немцы просто поставили в павильоне старинную пожарную машину. Она вся сияла красным лаком и надраенной медью. Бочка с насосом была полна крепчайшим мюнхенским пивом. Голоногая ладудра в золотой каске угощала нас горячими сосисками. Тянуло на путч.

Катенька раскраснелась и шалила. Подсвеченная карнавальными вспышками цветных прожекторов, она, стоя напротив в лоскуты пьяного комитетчика, то взмывала на легком сквознячке, то скромно соскальзывала вниз. Лицо ее визави наливалось темной кровью, огромной лапой он хватался то за сердце, то за стену. Я не сердился. Никто другой ее не видел.

Но когда выходили в совершенной тьме, кое-где разорванной фонарями, а потом шли по скользкой аллейке мимо ревуших на ветру флагштоков, я тоже не выдержал и, наскоро взлетев метров на десять, замерзшими руками добрых полминуты отвязывал от мачты двойной американский флаг. Катенька хлопала в ладоши и вертела головой во все стороны. Я благополучно спланировал со свертком под мышкой, и мы бросились искать такси, от нетерпения то и дело отрываясь от черного накатанного льда. Старый одессит обещал вмиг домчать нас до дома, мы разомлели и лежали, запутавшись друг в дружке, а он шпарил анекдотами без просветов, сам себе отвечая прокуренным хохотком. На пустых улицах и площадях седыми клочьями завихрялась поземка. Казалось, город закипает.

В ту ночь мы приобшились к западной демократии, постелив пропахший снегом и чуть влажный флаг в постель. Утром, когда зимнее солнце брызнуло рыжим сквозь голые ветви тополя, когда Катенька позвала меня пить кофе, я, задергивая кровать драным ватным одеялом, увидел среди звезд и полос маленькое пятнышко там, где она спала, — у Катеньки тогда были месячные.

* * *

Так или иначе, смеха ради она сшила себе из флага длинное шуршащее платье. Представляете себе — отправиться в таком в Большой или консерваторию?

Вернувшись от портнихи, взлетая то выше, то

ниже перед подводным нашим зеркалом, съеденным не то ржавчиной, не то временем, она сказала: "Четвертого июля пойду на прием к америкашкам. Пусть мне отдадут честь военные атташе..." "Осторожнее со словами", — хмыкнул я. "Ах, да, — она задела руки за спину, ища молнию, — там в сумочке статейка этого... Погорельцева... который ходит в церковь на Соколе..."

Профессор Погорельцев, отсидевший в свое время лет пятнадцать, автор проскочившей в печать скандальной книги "Между страхом и страхом" (кстати, очень быстро изъятой из всех библиотек), официально занятый проблемами культуры тибетского плато, писал, что эпоха Христа-Рыбы кончилась в середине шестидесятых годов и наступившая эпоха Водолея должна была найти новую символику воплощения. Все мы это знали: знаки Зодиака, восходящие против часовой стрелки; волхвы, последние представители джинов и алладиновых ламп у колыбели Христа; новая звезда над ними; очередное двухтысячелетие; Водолей — "Человек-ангел"... Но никто не знал, как это начнет сказываться. Профессор считал, что появление летающих людей закономерно, что это не случайность, что не нужно бояться, что страну действительно закроют — он имел в виду стеклянный колпак, — и играл словами: "нас уже невозможно *околпачить*". Но главное, Погорельцев писал, что "и за кремлевской стеной кое-кто уже начинает отрываться от вощенного паркета, что скоро-скоро, может быть, мы станем

свидетелями необычайного события, когда над недобрыми для века звездами Кремля пролетит черная фигурка серого кардинала и стрелки курантов на Спасской башне покажут совсем новое время...”

Статья разволновала левую интеллигенцию. Надежда на приступ очередной либерализации залихорадила Москву. Редактор наиболее читаемого подпольного ежемесячника “Зеркало” послал письмо правлению “Нового мира” с предложением объединиться на пороге новой жизни. Художник Одноглазов выставил в Манеже огромное полотно: Пушкин, Достоевский, Гоголь, Суворов, актер Смоктуновский, даже Василий Васильевич Розанов — все слетались с разных сторон клубящегося неба к храму Василия Блаженного. Катенька сказала, что похоже на шабаш.

* * *

От всезнающего приятеля, как я уже упоминал, я получил адрес сто раз секретного института, где, по моим соображениям, и должны были держать Николай Петровича. В часы пик, когда улицы бурлили угрюмыми толпами, я с деланным видом бодро гулял теперь рядом с безликим зданием. Опять была весна, в сером людском веществе вдруг проскакивала улыбочка, на освободившихся от снега тротуарах приятно шаркали подошвы, пахло солнечной пылью, и откуда-то издалека налетал на город тревожный мягкий ветер. Первые этажи заколдованного дома были забраны гранитом. Окна держали солиднейшие решетки, но выше они исчезали, а са-

мый последний этаж с бортиком сплошного балкона и тупыми мордами телекамер был весь распахнут – ловушка для идиотов. Конечно же, внизу, напротив подъезда скучала серая волга с четырьмя мордоротами внутри. На двери подъезда висела скромная, из черного с золотом вывеска "Комитет вибраций". Люди, входившие и выходившие из этих дверей, были либо мышино непримечательны, либо лихорадочно воспалены. Уже через неделю я выделил из общего мелькания сотрудников одно смятое, но все же остаточное приятное лицо и, чуть было не совершив роковой ошибки, отправился вслед за вельветовым пиджачком, устало ввинтившимся в толпу. В валящемся набок соседнем переулке, заставленном, как отжившей мебелью на распродаже, прогнившими домишками, я уже приготовился произнести сакральную фразу "простите меня", как вдруг не услышал, а почувствовал бульдожье дыхание за спиной и, ничего еще не соображая, свечкой взмыл в чистенькое розовое небо и на огромной скорости полетел прочь. Единственное, что я успел заметить краем заслезившегося глаза, была парочка в надутых ветром плащах на дне переулка, их задранные головы и вытянутые руки. Я давно не летал на открытых пространствах. С отвычки у меня кружилась голова, карниз двенадцатиэтажного дома с чем-то и вправду пулеметного гнезда я проскочил в несколько секунд. Но в жизнь нужно было вернуться так же стремительно, как я из нее выскочил. Круглое слуховое окно одного из сталинских небоскребов спасло меня. Стек-

ла не было, и я влетел, лишь чуть расцарапав щеку. Пахло пылью, и со всех сторон на меня смотрели огромные портреты правителей. Видимо, дерзкий домоуправ не выполнял нужных инструкций и хранил не только обязательных номерных тузов, вывешиваемых по праздникам, но и давным-давно вышедших в тираж. Толкая дверь, обитую вековой пылью, выходя на лестницу, я обернулся — кавказский горец давил косяка на своего лысого ниспровергателя.

И уже на улице, оттирая платком кровь со щеки, я увидел, — и в глазах моих потемнело, отвратительно хвостатую стрекозу вертолета, летящую непозволительно низко.

* * *

Через несколько дней я получил по почте скромный лоскуток бумаги, где указывалось, что я должен явиться в одиннадцать утра во вторник к следователю Н., стоял адрес и закорючка подписи. Стоит ли говорить, что адрес был назван тот самый. Я не знал, что делать. Катенька, душистая сумасшедшая Катенька, в последнее время всегда тщательно одетая, подобранная, даже причесанная и надушенная купленными в удачный день в уборной на Петровке французскими духами, Катенька висела в углу, в солнечном пятне, и дым ее сигареты вышивал узоры в обмершем воздухе. Пластинка Вагнера, полет валькирий, только что умерла, и игла занудно ехала по кругу. "Не ходи, — сказала Катенька, — просто не ходи. У них нет права. Ни черта не указав-

но, ни по какому делу, ни в качестве кого, вместо фамилии следователя лишь буква...” Я постоял под нею, поднял лицо, потерся о подол, чмокнул худую лодыжку. Что-то происходило. Мы оба чувствовали это. Что-то уже накатывалось издалека. Я решил идти. Но если Катенька в то время уже подумывала об отлете, я же боялся ее потерять.

* * *

Итак, я пошел. Плюнул на все и пошел. Лишь позвонил все же тому единственному со связями наверху знакомому и объяснил, когда иду и куда. У меня были идиотские иллюзии, что в случае чего он сможет через отца, личного переводчика генсека с бенгальского, мне помочь. Я даже не подумал, как часто встречается генсек с бенгальцами...

Катенька покачалась в дверях, сказала: “Я не прощаюсь, понимаешь?” — и я отправился.

Коечно, я попал в “Комитет вибраций”, но с другого входа. И вывеска была другая. Хотите верить, хотите нет, а было написано, правда на этот раз на картонке, как бы временно, я даже было, как идиот, полумал: для меня! — “ПРИЕМНАЯ ПО НЕСКУЧНЫМ ДЕЛАМ” и какой-то номер. Фамилия следователя тоже кривлялась: Никаков. Имя-отчество не сообщалось. Вахтер, в партикулярном, похожем на военную форму более, чем сама форма, платье, вызвал следователя, предварительно отобрав мой паспорт. Пока он звонил, закрывшись спиной, я разглядывал портрет вождя, стоящего над обрывом внизу, в долине. морем разливался огромный го-

род. Казалось, еще мгновение — и вождь или полетит, или же камнем сорвется вниз. Полы его военной шинели уже развевались... Щелкнула стальная дверь, и, издав далеко прицеливаясь сереньким глазком, накатился следователь. Был он маленький, кругленький, ничего такого, казалось, в нем не было. Косо он держал худенькую улыбочку — в старину так прижимали к лицу лорнет. "Никаков", — сказал он и руки, слава Богу, не подал. У самой двери, на которой горели кнопки сигнализации, он вдруг резко обернулся и лязгнул на меня глазами. Я, естественно, потупился. В мгновение ока он крутанулся назад и что-то там набрал — дверь поехала. Мы шли длинными полутемными коридорами. Пол был устлан темно-вишневым мягким пластиком. Говорят, что когда профессора Погорельцева где-то здесь же немного боксировали, а потом вели в камеру, капли крови вовсе не оставляли за ним тревожного многоточия — ковер все впитывал бесследно.

* * *

В кабинете, усадив меня на жесткий прямой стул, Никаков развалился в кожаном кресле напрогив и сразу как-то надулся и вырос. Над ним тоже висел портрет вождя. На сей раз правитель стоял на самом краю кремлевской стены. Далеко внизу текли краснознаменные толпы, в небе было тесно от самолетов. Казалось, еще порыв ветра — и вождь взлетит. Его серый габардиновый плащ уже крылато вздымался.

Вы догадываетесь. — сказал Никаков, подо-

двигая сигареты и пепельницу, — почему мы вас пригласили?

Разговор был похож на начало гриппа. Мне было жарко, неудобно в толстом свитере, который я как-то инстинктивно надел утром вместе с зимними носками, хотя уже всю зеленел бульвар. Меня перебрасывало в липкий холод, я весь съеживался от более чем странных фраз следователя. Воистину, он обладал неведомым мне искусством из обыкновенного русского языка выстраивать какие-то зазубренные, ржавые, крючковые фразы. Они входили в мозг, раздирая его. Я что-то булькал в ответ. "Ваш близкий друг, — говорил Никаков, — Николай Петрович Смоленский, оторвался от масс. Вы понимаете, конечно, что я имею в виду — оторвался? Он, скажем это прямо, хотел возвыситься, Охламонов, вознестись, так сказать, над родной страной, над трудовым коллективом, над партией, между прочим... Это он так думал... Теперь он раскаивается, теперь он полностью признал и учел, додумал и вник, протрезвел и проснулся, выяснил и ахнул. — Какой-то механизм в Никакове заклинил, но он дернул мягеньким плечиком, лицо его переехала спазматическая гримаса, и он выправился, все же под занавес малость буксуя, — ...осмыслил и сожалеет, а также проанализировал и сам себя казнит..." Карандашик в пальцах Никакова вертелся во все стороны, но через какой-то равный промежуток своим черным острием нацеливался прямо на меня. "Вы ведь дружили с обвиняемым?" — спросил следователь. "Да,

– сказал я, – мы дружили. Я уважал его талант...” Никаков, как дитя, крутанулся в кресле, показал ветчинную лысину, наехал снова. Улыбочка его, как зацепившийся чулок, ползла петля за петлей по чистенькому лицу: “Так можем ли мы из вышесказанного заключить, – он чуть было не сказал “голубчик”, – что вы были не только его поклонником, собутыльником, сотрапезником и, может быть, кое-кем еще, что нами пока еще не выяснено... но и, мягко говоря, *учеником?*”

Это было так глупо, что мне вдруг стало скучно, смертельно скучно, как бывало уже не раз этой фальшивой весной. Знаете, когда безостановочно тошнит, на что ни взглянешь... Я чувствовал под курткой нагревшийся бок фляжки – милая моя Катенька засунула мне в непроверенный карман фляжку коньяку. Хотелось, чтобы Никаков пошел, что ли, в уборную или к начальству, а я мог бы выпить... И словно прочитав мои мысли, грянул аппарат со множеством кнопок, на котором было написано “Bell System”, и Никаков, что-то туда сказав, пошел к двери. “Я вас оставляю на минуточку”, – сказал он.

* * *

Кабинет был отвратительно казенного цвета. Как писал в своих стихах поэт Ошанин – салатного. Коричневая каемка шла выше. На стене было длинное, необычайно горизонтальное зеркало. Окно без решетки, но с бледным штампом треугольничком в углу каждого стекла – такие, говорят, не разбива-

ются даже от удара табуретом. Стол был тоже пуст, лишь календарь да газета "Правда" с передовицей "Крепче держаться за родную почву". Я встал и размял одеревеневшее тело. Фляжка янтарно светилась, когда я пил перед зеркалом. Что-то равномерно жужжало и тикало непонятно из какого угла. От коньяку ли или оттого, что я перенервничал, меня клонило в сон. Я подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Окно выходило во внутренний двор. Я увидел мостки прогулочного дворика, забранные сверху решетчатой крышей, а сбоку затянутые сеткой. Двое солдатиков курили у тяжелых ворот. Гулил на подоконнике больной, с прогнившим клювом голубь. Стекло было влажным, и я в ужасе отпрянул, сообразив, что в образовании этой сырости участвовало дыхание следователя.

* * *

Никаков вернулся через час. Ничего не сказав, он сел за стол, выдвинул ящик, достал лист стандартной, видимо, анкеты и стал быстро заполнять. Вопросы были теперь сухими, обыкновенными, и я отвечал автоматически. Карандашик мертво лежал на столе. Со двора доносилось сухое топтание и окрики охраны. Жужжание тоже умерло. Во мне тихо закипала очень конкретная ненависть. Никаков кончил писать. "Распишитесь", — сказал он. Я прочел протокол, где значилось, что я дружил с Коленькой, был поклонником его поэзии, но ни в каких опытах никогда не участвовал. Я расписался. "Поставьте печать в соседней комнате, — Никаков протянул мне

пропуск. — Вас проводят”. Голос его сбился на писк, да и сам он съеживался и уменьшался, словно из него выпустили воздух.

* * *

Я вышел из кабинета и постучал в соседнюю дверь. Внутри была стеклянная перегородка, из окошка кукушкой высунулся человек в белом халате. Протягивая пропуск, я как-то нечаянно глянул внутрь — Боже! комната, соседствовавшая с кабинетом Никакова, была лабораторией. Какие-то пленки розового и серебристого цвета горою лежали на полу, перемигивались лампы, кругло светились экраны. Сбоку по стене шло затемненное горизонтальное окно с отдернутой до половины занавеской — это было зеркало соседнего кабинета! Меня проверяли...

Рука вернула мне пропуск и указала на вторую дверь. Щелкнул электрический замок. Я рискнул и, нагло оскалась, спросил: “Че? не подхожу?” Белый халат, возвращаясь к пленкам, спиной ответил: “Нам таких грузовиками привозят. Весу в тебе много...”

* * *

И уже внизу, отдавая пропуск в обмен на паспорт, я разглядел на печати меч и два сращенных крыла, а чуть позже, в метро, до меня дошло и остальное: оставленный один, я должен был в панике проявить себя, как бы почесать запрещенное место, хоть на секунду да потерять контроль, взлететь хоть на миллиметр. “Весу много” — они проверяли, не тярю ли я вес!

* * *

Из того же самиздата, от той же портнихи (Катенька сшила себе золотистое платье из шелковой занавески, в котором я однажды снял ее на закате, висящей грустно над крестом сельской церкви — ее последний снимок в России), приблизительно через месяц, читая слепой экземпляр машинки, мы узнали, что Коленька перехитрил своих тюремщиков, согласился на опыты и, когда его перевели из камеры (высота потолка метр двадцать) в лабораторию размером с ангар, он, освобожденный от всего, кроме проводов датчиков, с высоты в пятнадцать метров рухнул на единственно твердое — стол профессора, все остальное было предусмотрительно обито все тем же вишневым мягким пластиком, и разбился насмерть. В Швеции уже был создан комитет его защиты, радио "Свобода" регулярно читало его стихи, двое молодых американцев приковали себя наручниками к Царь-пушке в Кремле в знак протеста, но было поздно... В мае, когда промчались первые грозы и расцвел дуб, в "Вечерней Москве" появился фельетон, где Коленька назывался шарлатаном, корыстно обиравшим знакомых, обещая их обучить несуществующему. Кроме прочего, он, конечно же, фигурировал как графоман — статья была подписана известным поэтом.

В самом конце месяца, когда уже вовсю запылала по уцелевшим палисадничкам сирень, Катенька уволокла меня за город. Мы уехали далеко-далеко, в наш любимый Никольский лес. Там нас никто не мог увидеть, но она почему-то нежно отка-

залась сделать это в воздухе, как раньше, а с тяжелой настойчивостью утянула меня в траву. Она сжимала меня сильно, с какой-то новой яростью, ее ноги оплетали меня, а руки почти душили, ее душистый пот, смешиваясь с моим, заливал лицо, и все произошло так сильно, как никогда в жизни.

В тот день мы окончательно решили улететь.

* * *

“В моду, — шутила Катенька, — скоро войдут свинцовые сапоги”. Она была недалеко от истины. Кое-где сознательные пенсионеры, не дожидаясь указаний сверху (ловлю себя на том, что “сверху” в те времена звучало двусмысленно), развесили плакатики: “ЛЕТАТЬ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ”. Уже формулировали новый закон “за антиобщественный отрыв от коллектива”, срок заключения и так далее. Даже было сказано, что родители несут ответственность за детей, неважно, если сами они и не способны приподняться над буднями нашей родины.

* * *

Грузины втридорога продавали помидоры на Цветном рынке, откуда-то в город завезли жирные гладиолусы, с официальным визитом должен был приехать премьер-министр Австралии, и по этому поводу по Москве гулял афоризм мэра города, что если во дни визита кто-нибудь полетит, то тотчас же полетят головы — одним словом, была тоска и запустение, и мы с Катенькой наконец-то взяли два билета до Симферополя, откуда машиной решено было добраться до Ялты, немножко отдохнуть, осмот-

реться и, выйдя однажды ночью на увеселительном пароходике в море, навсегда покинуть страну.

Коленькино предупреждение — не летать над большими водными пространствами — конечно, немного пугало, но выбора у нас не было. Западные границы патрулировались теперь серьезно.

* * *

Знаете, что такое Ялта ночью? Нет, не та советская, вдребезину пьяная, дерущаяся, пропахшая дешевыми духами и маслом для загара Ялта! Немая, уменьшающаяся, лежащая набок далеким потухающим костром. Город, из которого столько бежали... Последняя память, приправленная опереточными шутками...

Была безлунная душная ночь. У меня был детский, накануне купленный компас. Как я боялся, что стрелка соскочит с иголки...

* * *

Я опять возвращаюсь к снимкам тех лет — черно-белым, конечно: цветная пленка с Запада попала ко мне редко, платить за нее нужно было какие-то бешенные деньги. Вот Катенька несет по воздуху поднос с кофе — тяжелый бабушкин поднос. Ей трудно, и поэтому ее голенькая фигурка задрана ногами вверх. Я вижу два холма ягодиц и нежно стекающие груди. Волосы не расчесаны, а как-то криво заколоты сбоку. Ее пушистое лоно до сих пор вызывает во мне судороги... Катенька под речным мостом, в руке она держит свернутый трубкой журнал и дудит в него, как архангел. Катенька вверх нога-

ми в нашей квартирке: волосы совсем залили лицо, платьице тоже упало вниз, лишь ноги фонтаном бьют вверх.

У меня есть особенный снимок, он потрясает меня особенной грустью — Катенька отодвигает штору: зимнее окно, снег на ветках, воробей, хилое солнышко, провода... Она в стареньком халате. Держит его у горла рукой. Словно что-то душит ее. Иногда я думаю, что уже тогда она знала, что случится.

Самое удивительное в этом снимке то, что Катенька стоит на полу.

Я тянусь к спичкам.

* * *

Как мы добирались до Парижа — отдельная история. Мы больше не устраивали перелетов. Лишь Турцию мы пересекли в три жарких ночи, до краев наполненных густым стрекотом цикад. Американский консул в Афинах выдал нам наши первые западные документы. Конечно, нами заинтересовались, но мы разыгрывали несложную пьеску с надувной лодкой, пресной водой и резвой фортуной. След этой идиллической лжи тянулся за нами еще несколько лет по всем префектурам Европы. Я довольно-таки быстро продал с дюжину снимков французскому агенству, получил аванс — это, кстати, и решило выбор страны: остаток нам обещали выдать по приезде в Париж — и мы робко бросились тратить огромные для нас деньги. Снимки, замелькавшие уже через неделю на обложках толстых журналов, были из тех, что я делал всю жизнь: ули-

цы, люди, в основном люди. Лишь несколько последних я сделал с высоты — это была Москва накренившаяся, коловшаяся злыми шпильями своих карликовых небоскребов, тяжело проваливающаяся гробницами административных зданий.

В Париже мы жили скромно, с какой-то веселой грустью. Что-то навсегда было влито в воздух наших отношений, какое-то количество несмертельного, как я думал, яда. Я старался не слушать новостей из России, не покупал газет, но, воленс-ноленс, журналы с моими публикациями подсовывали комментарию советской жизни, и меня частенько тошнило, как в кабинете Никакова, — были они явно или скрытно на 99 процентов просоветскими.

Натекли какие-то деньги. Катенька арендовала узенький пенальчик на одной из улочек Les Halles. Почти все она мастерила сама, сама возилась с закупками и вскоре открыла крошечный магазинчик "Chêz Katy", где все, буквально все было одного темно-вишневого цвета. Я имею в виду блузки, сахар, панталоны, теннисные ракетки, наливки, сапоги, свечи, стаканы, даже пирожные и печенье. Месяц магазин впустую разевал пасть, а потом покупатель пошел валом — моя Катенька стала очень модной, и на улицах замелькали одноцветные катенькины девицы. Меня радовал ее успех, но, честно говоря, пугал цвет.

Однажды на шумной вечеринке, устроенной знаменитым критиком, к которому художники всего мира съезжались на коммерческий поклон, мы

стояли с Катенькой на балконе. Была она в легоньком платье, и ее голые руки, боюсь сказать: молитвенно, сжимали стакан шампанского. Неожиданно она заговорила о Николае Петровиче, о его библиотечной комнатке, а я смотрел вниз через решетку на струящийся далеко внизу в ранних сумерках Монпарнас. Речь ее заливала меня чем-то тяжелым, и я уже хотел ее остановить, когда услышал: "Он дал нам это как дар, и это стало нашим спасением, и мы больше никогда даже не пробуем... Хотя бы чуть-чуть..." Она, уже перегибаясь, вернее, переливаясь через решетку балкона, соскальзывала вниз. Дальнейшее взорвалось мгновенно: я увидел, как ее крутануло по спирали, как она цветным комком со шлейфом платья понеслась вниз, как охнула рябая толпа, сразу превратившаяся в аккуратный круг... Почему я бросился на лестницу к лифту? До сих пор не знаю...

* * *

Похоронили ее на Сент-Женевьев-де-Буа. Там, где окончилось так много бесконечно странных русских судеб. Там же однажды, навещая ее, я встретил бывшего советского инженера, нынешнего добровольного парижского клошара. Впрочем, вполне приятнейшего жизнерадостного клошара. Я подвез его до Парижа и, уже в кафе, на прощанье, он вдруг сказал мне:

— Говорят, эти, которые могли летать, попав на Запад, начисто теряют эту способность.

Был он весел, и улыбка его, зависшая в полу-

мраке кафе, напомнила мне чеширского кота — одного из нашей компании.

ПЕТР ГРОЗНЫЙ

Э.Л.

Письмо было из Нового Йорка. Эд писал, что дела идут хреново, но что ему достали плащ только что отбросившего копыта нацистского преступника из Джерси и теперь он ходит в нем, поддевая толстый свитер. — Настали собачьи холода, — писал он.

Я порылся в пластиковом пакете, мусорного ведра у меня не было, и вытащил кофейный фильтр. Скелет виноградной ветки прилип к засохшей гуще. Дурная осенняя муха, воображая себя военным вертолетом, пропилила по воздуху и врезалась в окно. Странно, денег давно не было, однако мусор откуда-то брался. Я пропустил воду шесть раз через фильтр и он развалился. Пойло мало походило на кофе. В пустой сахарнице на стенках еще оставались шершавые наросты. Я влил туда свою бурду и размешал. Теперь эта муть окончательно остыла.

Еще Эд писал, что девица, у которой он снима-

ет комнату, с утра торчит на гашише, а ее приятель не слезает с иглы. — Из окна видно, как рьжие такси удирают в сторону океана. Трава подорожала, но не очень. Бах отрастил усы. Ирка купила военный джип. Вчера в сквере кого-то шлепнули. Стрельба как по телику. Я выключил звук”.

В распахе тяжелых штор было мутно и мокро. Субботний полдень смахивал на гнилую полночь. Соседский транзистор мучил гортань чем-то ближневосточным. Если засохший хлеб подогреть в тостере, он иногда устраивает пожар. Если попробовать зажарить в тостере кусок мяса, получается замыкание. В армии, шесть тысяч километров на восток, в каптерке сержантской школы, я варил кофе на перевернутом утюге. Был поздний май и на цветах гарнизонной клумбы лежал снег.

Я врезал по регулятору обугливания и тортинка моя катапультировалась. В конце письма Эд писал, что Новый Йорк ему обрыд и делать там нечего. Еще был пост-скриптум: ”Забрел я невзначай к Чапу. Хозяин нес несусветную чепуху, подкуренные голые девицы бродили меж незаконченных шедевров старого охламона. Одна из них все пыталась совокупиться с хозяйским бульдогом. Я сидел в углу, читал Коллинса. Потом мне стало так тошно, что я встал, разбил о лысый череп Чапа его же статуэтку и ушел.”

Покончив с завтраком, я наскоро прибрал постель — драный волчий тулуп на раскоряченном матрасе, оделся, нахлобучил волглую шляпу, и, прихва-

тив толстый, венесуэльскими марками заляпанный конверт, по кривой лестнице свалился вниз. Шел второй год моей парижской жизни, но все же каждое утро просыпаясь, каждый раз выходя на улицу, я должен был себе повторять: я в Париже; это человек, несущий торт — француз, эта дама, показывающая разинутую в вопросе пасть — мечту дантиста: французенка. — Excusez moi, — сказала дама: — *Pap rozumie po polsku?*”

Через полчаса я был на Rond-Point. Меж складных столиков, в прорезиненных плащах, под зонтами толкались коллекционеры. Марки и монеты, значки, открытки, ордена и медали — все было затянута в солидный толстый пластик. Пожалуй, самое главное изобретение века: то, чем нас всех затянет сверху после последних спазм. Я скользнул глазом по верденской битве и версальскому миру, отметил присутствие бронзового бюста казанского шутника, улыбнулся улыбчивой Мэрлин, и подошел к розово-щекому, белоресничному дяде. Флегматично он клюнул носом в мой конверт и отрицательно мотнул рыжей копной спутанных волос. Я забрался в самые дебри торга, к жаровне продавца каштанов. Седобородый старикан любовно закручивал пробку ополовиненной коньячной фляжки. С полей его лиловой шляпы, как лошадь он вскинул голову и фыркнул, брызнули дождевые подтеки. Повернув ко мне заросшее волосами ухо, он внимательно выслушал ублюбочную в моем исполнении французскую фразу и, слезясь глазами, проваливаясь дырой

рта, утираясь платком, стираным в прошлом веке, сказал: — Русский? Вряд ли, приятель, ты кого-нибудь здесь этим заинтересуешь. Попробуй у букинистов...”

В конверте были дореволюционные деньги, чеки, несколько похожих на марки купонов времен братского кровопролития по обе стороны справедливости. Когда-то на том свете, в той жизни (сезон дней разницы; каждый, как пуля, попавшая в цель), от которой ничего не осталось, кроме налета безумия на нынешней, что-то вроде двойной экспозиции в фотографии, я собирал эти банкноты, старательно классифицировал и даже имел редчайший, стоивший в Москве гораздо больше всей моей коллекции каталог. Отправляя наперед с приятелем дипломатом рукописи, я почему-то вообразил, что смогу получить за свою коллекцию приличные деньги и, в обход министерства Цербера, вложил в посылку и этот конверт.

Букинисты послали меня на Риволи, в чистенький скучный магазин, где под стеклом были похоронены сплюснутые конверты с английскими королевами, островами Тринидад-де-Тобаго, Св. Елены и Вознесения. Адреса на конвертах, как им и положено, побледнели от сырости недалекого Коцита. Хозяин, не глядя, объяснил мне, что царские деньги в Париж свозили мешками и что теперь я могу сесть где-нибудь возле Сены и делать из своих двухсотрублевых бумажные кораблики. Я откланялся, чувствуя себя полным идиотом, и вышел в дождь. Если

можно себе представить жизнь на дне унитаза — мимо проскочил школяр с плиткой шоколада и перемазанным ртом — то это был тот самый случай. Время от времени кто-то невидимый спускал воду.

Дойдя почти до Нового Моста, я повернулся, чуть не сбив галопирующую к автобусу стерву (— Merde — роняя сумку, завопила она: таблетки, помадка, мелочь, цепочка — полный перечень займет семь томов), и зашагал назад к магазину. Тренькнул дверной колокольчик, объявляя о моей капитуляции. Я просил за всю коллекцию, за Петра Первого и Екатерину Великую, за двуглавых орлов и закорючки казацких казначеев, за чернильные штампы спорадических правительств — сто франков. Одного Делакруа или двух Ла Туров. Мне хотелось свернуть боевую операцию, купить бутылку скотча и завалиться в постель. Хозяин не оценил моей щедрости и в компании дождя я потащился по черному гляncу мокрых мостовых. Отражения реклам уже дрожали в плоских лужах. Город был поцарапанной копией давным-давно знакомого фильма. Клошар, сидя на корточках, спал под навесом банка. Из остановившегося ягуара высунулась нога в черном чулке, попробовала мостовую и втянулась обратно.

* * *

”Париж — это подарок, совсем недавно уверял я Эда—Это уже сто очков вперед и неоспоримое преимущество. Люди тратят жизнь, чтобы выбраться сюда. Мы же с тобою обжили его, как когда-то Пе-

тровку или Сретенку”. Все это так, все это так, но неплохо было бы иметь немного твердой валюты. Я подумал о надвинувшемся вплотную вечере и выругался так, что сдвоенный полицейский патруль остановился и уставился на меня. Неужели они уже понимают по-русски?

— Когда нет своей квартиры, — теоретизировал Эд, — нужно по крайней мере иметь приличный костюм. Ты не можешь пригласить к себе даму, но зато сам можешь пойти в гости. Желательно сначала прогуляться по набережной до Ботанического сада. Гвоздика в петлице конечно анахронизм, но каждый украшает свою жизнь как может.” В последний раз, когда я видел Эда, на лацкане его пиджака английской булавкой был приколот пластмассовый цветок. — С макушки американского деньрожденного пирога, — пояснил он. — Вавилонская башня из крема и миндаля, наверху вот эта хреновина... Был в гостях у кого-то на крыше. Отличное место для пулеметного гнезда...”

В гости, кстати, и я должен был идти вечером. Странно, когда есть деньги, Париж сияет прямо-таки черным жемчугом. Гнилой, за ворот льющий кому-то другому, дождь кажется тогда чуть ли философски оправданным контрастом к жаркому камину, толстой сигаре и стареющей, но еще хоть куда, потаскушке, выходящей из ванны в пенюаре. Икота от шампанского одолела ее и пенюар, просвечивающий со всех сторон, года через два будет подарен кухарке. ”Shit, alors!” — сказал я, входя в мага-

зин ламп и выбирая что-нибудь трехсотваттное, чтобы быстрее согреться. Нужно было звонить Лоранс, извиняться, отказываться. Она и сама отлично готовит, эта стерва. "French females 're very bitchy" — кто сказал это? И вино у нее прекрасное. К тому же будут гости. Богатые, любящие задавать умные вопросы. "Вы давно из вашего рая? Ха-ха-ха! Не страшно гнить вместе с нами? Что вы думаете об этом..., как его One-dgor-of? Предпочитаете Dgor-off? Молодо выглядите для ваших лет... Держали на льду, в Сибири? Уморительно... Вот это шутка..." Иногда среди гостей попадаются егозливые, пресыщенные всем на свете, красотки. Джет-сет. Или их семнадцатилетние дочери. Которым наплевать, что ты живешь в дыре, или что у тебя разлезлись брюки и тебе не в чем идти в гости. Им, наоборот, только такое и подавай. — Что-нибудь выбрали? — пропел ангельский голосок за спиной. Я обернулся. Тигрица. Охотится день деньской меж бронзовых ламп. Набита опилками и счетами из банка, грудь точно уравнивает зад. — Нет ли у вас... — в голове моей затрещали зеленые электрические молнии, — лампы-телефона? Знаете, такой прозрачный светящийся телефон? Китч, но можно поболтать с Сан-Диего, штат Калифорния?" У нее было все. У нее можно было отовариться парочкой кассетных боеголовок. Но меня не устраивал диск. Какого дьявола? В конце века крутить вертушку, как какой-нибудь провинциальный ухажер? Я предпочитал кнопочную систему. Сняв шляпу, от которой валил пар, я откланялся.

— Приятного вечера, — сказала тигрица. — Bon weekend, — пятился я, — Good fuck...”

* * *

У Лоранс я встретил Фелин. Мы договорились сыграть в теннис на следующий день. Стояло бабье лето. В Люксембургском саду девочки бэйби-ситтеры глазели на старательно гоняющих в мяч молодых людей. Чем дольше они глазели, тем лучше молодые люди играли. Антонио, большой специалист по части кадрежа, разболтанной походкой подваливал к розовокожей блондинке. На его набриолиненных волосах лежал солнечный блик. Золотая цепь качалась на мохнатой груди. Времени он не терял. — Привет, — говорил он блондинке. — Пойдем трахнемся? Ирландская подданная, вспыхнув, застревала между улыбкой и слезами, в дальней беседке гудел и набирал силу заключительный аккорд симфонии, исполняемый американским военным оркестром, и от монпарнасской башни вдруг выныривал темно-вишневый вертолет телевизионной компании. — Если не пропускать ни одной, — объяснял Антонио, — где-то через два десятка срabатывает.”

Фелин была сложного происхождения. Немецкий папа был увлечен малазийской мамой в садах Сиднея. Сама Фелин рекламировала косметику и шляпы в японской фирме. Появилась она в умопрачительном теннисном костюме. Ракетка ее стояла чуть больше недельного путешествия в Агадир. Играть она не умела. Я подкидывал ей мячи и она лупила изо всех сил, в основном мимо, или попадая

ободом. — Гляди на мяч, — вопил я. — И сядь ниже! Согни ноги...” С ногами у нее все было в порядке. Такие ноги уже были пособием по безработице. Антонио отлип от ирландской няньки. — Махнемся? — крикнул он. — На монгольскую лошадку? А? Сто километров в час! Вся из вздохов и сбитых сливок!” — Кто этот хам? — спросила, заливающаяся потом Фелин. — Симпатяга, — я собирал новенькие ее мячи, — задвинут на бабах. На днях уговорил несовершеннолетнюю девицу из столицы вальсов. Не держи ты ее как топор! Возьми свободно...” Ракета у нее в руке дрожала. — И они помчались бегом в его студию. Через пять минут девица вернулась — забыла в песочнице трехлетнего карапуза. — Понятно, — сказала Фелин, — и ты такой же?

Я пригласил ее в китайский ресторан. У меня был последний чек. Главное было правильно вписать счет. Обычно у меня уходило на ошибки во французском два чека: первый с ошибками и корректурой, второй — нормальный. Она прекрасно разбиралась в китайской кухне, но ничего не пила. Я выщедил бутылку брюи и хозяин принес мне чарку сычуанского ликера. На фарфоровом дне ее была голая девушка, но стоило только выпить густой сок, как она исчезала. — Все правильно, — решил я тогда, — девушки должны существовать только в тягучих крепких настойках.” — Терпеть не могу спать одна, — сказала Фелин. По спине моей промчался эскадрон мурашек. — Я всегда реву, как корова... — Я, право, живу в курятнике, — начал я, — но если ты не боишься...”

Она бодро вскарабкалась на шестой этаж. Ключ мой не попадал в замок. — Ну и гнездышко, — улыбалась она. — На каком это языке? — На русском, — я собирал разбросанные страницы. — Как будет по-русски *la queue*? — она стояла голая, подсвеченная светом из ванной. У нее было худое крепкое тело. Детские лопатки. Неожиданно большая грудь. Иссиня-черные волосы падали до ягодиц. — Слушай, можно я возьму твою зубную щетку? Дверь она, вряд ли по рассеянности, не закрыла. Я видел как она журчит лениво рассевшись, продолжая чистить зубы. — Эй! — сказала она минут через пять, — мы друзья? Из-за того, что я в твоей постели, не обязательно трахаться? — Да? — переспросил я ошарашенно. — Ты чего-нибудь боишься? — Не люблю когда *это* внутри, — и откинув свои роскошные волосы, она одарила меня мокрым резиновым поцелуем, — баюшки, спи спокойно...”

Легко сказать! Она повернулась к стенке и пошла ко дну. Пол-ночи я провертелся рядом с этим горячим смуглым телом. Под утро, когда бледно проступили сквозь шторы контуры соседней крыши, все произошло само собой. Она что-то бормотала облизывала пересохшие губы, но впрочем, так и не проснулась.

С тех пор она повадилась звонить. — Слушай, — говорила она, — я приду к тебе спать. Можно? У меня есть для тебя Черная лошадь, белая этикетка... Или наоборот... — Но, Фелин, — начинал отнекиваться я, — ты же знаешь...” — Нет и нет! Обещай

мне, что мы не будем трахаться. Окей? Ну что тебе стоит? Майкл уехал в Рим. Жан-Поль подцепил херпес. Я одна и реву как дура...” — Нет! рычал я, — нет и нет. Я живой. — Ну, хорошо, — стонала она, — я пришлю тебе подружку, она помешана на сексе. Ты ее трахнешь, а позже я приду спать. Согласен? Ну что тебе стоит?”

* * *

Обо всем этом я думал, тащась по набережной. Дождь разошелся вовсю, но мне было уже наплевать. Я нашел автомат, который еще глотал двадцатисантимовые монеты и позвонил Лоранс. — Я не приду, — сказал я. — Что-нибудь серьезное? — Свидание с резидентом КГБ. — Брось свои шуточки, в чем дело? Объясни? Я могу что-нибудь сделать? Хочешь, приходи позже...?” Я повесил трубку. У Лоранс была отличная черта, она никогда не выпендривалась. Однажды, ища зажигалку в ящике спального столика, я нашел небольшой, размером с последний подарок, пистолет. Она сидела перед зеркалом, разбирала себя, как елку после Нового Года. Я навел пистолет ей в затылок, у нее была высокая девичья шея. — Заряжен, — спокойно сказала она через зеркало, — спички ниже...” Я должен был ей тысячу франков. Не хотел брать. — Не валяй дурака, — отмахивалась она, — для меня это не деньги. Отдашь после первого миллиона.” Однажды, притащившись на чердак, я нашел в кармане пиджака две пятьсотфранковые банкноты. Месяц или около того, я не появлялся у нее. — Дурак, — комментиро-

вала она, поймав меня в кафе. Мы пошли к ней. Вечером она шла в оперу. Я лежал в подушках со стаканом красного, она, побледневшая, брила ноги.

* * *

Ноги мои промокли, поля шляпы обвисли. Но конверт был двойной, пластиковый внутри, я за него не боялся. Я мечтал о рюмке коньяку. Большой рюмке душистого, в ладонях согретого, коньяку. Зайти в кафе-табак, выпить пару стопок и дать деру? Стать у двери, чтобы выскочить в одну секунду? Я знал недалеко скромный бар, боковой дверью выходивший в узкий, плохо освещенный пассаж. Можно было бы смыться без проблем... Что меня останавливало? Припадок идеализма? То, что на подобные операции здесь, во Франции, я не был готов? Там, дома, где все было издевкой, я бы не задумался и на минуту. Здесь меня останавливал принцип. Я, видите ли, уехал принципиально. Merde...

* * *

Было семь вечера — колокол поделился со мною этой арифметикой с вершин Сэн-Сюльпис. Я стоял разглядывая через разрыдавшееся стекло нутро уютного темно-вишневого паба. Японский бог! Там был камин, и в нем только что, подняв снопы искр, развалилось огромное полено. Бармен, он же, судя по всему, хозяин, присев за столик, трекал с толстой, щетовидкой отмеченной, дамой. Ее выпученные глаза гуляли по фелиневскому гриму лица. Стойка, чудесная стойка с армией красивых бутылок, была украшена банкнотами всех стран мира. Я

даже разглядел советский трешник. Нужно было что-то решать. На что-то решаться. Со стороны Сэн-Жерменского бульвара налетал ветер и, уже совсем по подлянке, заливал дождь чуть ли не в ноздри. Я толкнул дверь паба, стряхнул воду со шляпы, кивнул хозяину и уселся поближе к выходу. Вода стекала с плаща на пол. Я не стал его снимать. На всякий случай. — Чем вас порадовать, молодой человек? — навис надо мною хозяин. Рукава его рубахи были завернуты и оттуда торчали здоровенные, смоляным волосом заросшие, ручки. В пабе было жарко, все было раскалено — стены, настольные лампы под кровавыми абажурами, медь стойки, улыбка хозяина, его бугристые кувалды... — Кальва, — сказал я. — Большую рюмку. — Обычного? — переспросил хозяин, — Высшей марки? — Высшей, — опустил голову я; какая мне была разница... Он принес большую, кверху сужающуюся рюмку. Янтарного цвета жидкость плескалась на дне. Я вспомнил перелет из жизни в жизнь, рейс Аэрофлота Москва — Париж, соседа-номенклатурщика, который требовал, чтобы стюардесса долила ему коньяку до верхней кромки. — Ишь, — жаловался он, — заграница! Стакан коньяку налить не могут! Что я — школьник что ли!" И, крикнув, он влил в себя 200 грамм коньячку и уставился в окно, где вместе с нами сваливали на Запад бледные балтийские облака.

Я не мог ждать, пока кальвадос согреется, и отпил добрую треть. Мой, не слишком переполненный, желудок скорчило. Плевать. Отпустит. Я знал

как это бывает. После армии там что-то прохунилось. Радиация и дерьмовая еда. В те годы моей мечтой была банка сгущенки за 55 копеек. В солдатском ларьке кроме нее продавались лишь каменные мятные пряники. Однажды, после десятикилометрового марша по зимней тайге, ворвавшись в такую уютную после снега, снега и снега казарму, я рванул к своей тумбочке, где в углу, за книгами стояла ополовиненная банка с голубой этикеткой. Молоко засахарилось, комки его хрустели у меня на зубах. Капрал, занимавший верхнюю койку, разматывал почерневшие портянки. После того, как основная масса вытекла, сгущенка затормозилась: дырки были слишком маленькие. Штык-ножом я открыл банку — внутри было штук двадцать утопившихся тараканов. Это они хрустели у меня в глотке. Странно, меня даже не вырвало.

* * *

Зашла парочка. Седой хмырь в дорогих очках и студенточка. Взял себе вервенового чаю, а ей горячего вина. Правильно. Чтобы мозги у нее запотели. А свое здоровье пора беречь. Студенточка смотрела, словно извинялась. Давай-давай. Тебе легче. У тебя пизда. Гораздо честнее иметь ее меж ног, чем во лбу. У многих она во лбу. Идет человек по улице и видишь — у него она во лбу. Теперь кальвадос согрелся и я блаженствовал. Хозяин вернулся за стойку и мыл стаканы. Жар камина накатывался на меня. На что это похоже? На темно-синий снег за крестом окна и малиновое варенье. Железки распухли и мать

заматывает тебе горло шарфом. Не канючить! Вовсе он не колючий. Форточка открыта и перед сном в нее влетают огромные снежинки... Я потрогал шляпу. Бедная, как тебя перекосило. А ведь из хорошей семьи, с авеню Матийон.

География памяти! Боже! Зачем мне все эти тонны деталей. Для чего? Студенточка нервничает. Хмырь не спешит, снял очки, протирает их салфеткой. Глаза у него без очков маленькие-маленькие. Эд где-то писал, что хорошо спать с любимой женщиной. Точно. Совсем не интересно с Фелин. Гораздо уж лучше с Лоранс. Но с нею всегда такое горькое чувство. Словно она тонет, а у тебя увольнительная на берег. Когда я в последний раз спал с любимой женщиной? Год прошел. Больше. Секла все на свете. Никаких сносок и комментариев. Ночами, пустой навывлет, я спал у ветвями исхлестанного окна. Она — в шерстяных рейтузах и халатике — сидела до утра за чертежным столом, выводя обод теннисной ракетки для новой рекламы или крыло альбатроса для сигаретной пачки. Я проспал ее. Я слишком счастливо спал в те ночи. Теперь, где-то в Чэлси, в толстом свитере и балетных чулках, она сидит за обеденным столом, раскрашивая двухпалубные автобусы, и муж ее храпит, обняв подушку.

Я почти допил кальва и стал рассматривать дверь. Никто не входил и я забыл в какую сторону она открывалась. Не важно. Это потеря двух секунд. Нужно лишь подождать, пока поток машин у светофора начнет скрежетать коробками скоростей и

красный свет переключится на зеленый. Я высчитал, что реле срабатывает на 36-й секунде.

Большинство машин трогается уже на пятой... Учитывая лужи, плохую видимость, плащ и беспризорность, на катапультирование и занятие позиции на противоположном берегу уйдет 20 секунд. Все дела. Я пытался придать шляпе форму. Бесполезно. Дверь открылась вовнутрь. Вошла женщина. Вся в коже. Волосы собраны в пучек, блестят от дождя. Хозяин включил музыку. Blue Rondo à la Turk. Заря сопливой юности. Студентка расплачивалась вместо хмыря. Хозяин собирал со стола. Я подозвал его. — Собираете иностранные деньги? — 32 страны, — он улыбнулся, — Вы откуда? Мексиканец?" — Маленький подарок, — я протянул ему пятсотрублевку 901-го года с Петром Великим в рыцарских латах. Хозяин взял ее и крикнул. — Это слишком... — он поднес ее к лампе, — Это что же? — Россия до революции. — Так вы русский? Ага... — На эти деньги можно было хорошо погулять... Кстати, сколько я вам должен? — и я полез в пустой карман. Пламя камина полыхало на стеклянной двери, сквозь огонь неслись взмыленные машины, светофор заклинило на зеленом. — Но, но, но! — жестом обеих рук словно отодвигая меня, запротестовал хозяин, Ни в коем случае! Кто же это? Ваш царь? Иван Грозный?" — Петр Великий. — Ну да! Петр Грозный... Вот это подарок..." И он, перегнувшись через стойку, достал с полки бутылку и плеснул мне двойную, тройную порцию кальвадоса. — От фирмы... Я, пожалуй,

вставлю ее в рамку...” Он, все еще разглядывая банкноту, зашел за кофеварку и, сняв со стены фотографии велосипедного клуба футбольной команды, примерил к рамке Петра Грозного. —Juste! — констатировал он, потроша картонное нутро.

Дама заказала грог. Голубое рондо крутилось по третьему кругу. Все было хорошо. Даже то, что Фелин не любила *это* делать, а Лоранс не могла без этого заснуть. Когда-то Лоранс была Фелин, а Фелин, со временем, станет потускневшей напуганной, жадной до мужиков Лоранс. Все было отлично и как надо. Всегда все как-то устраивается. Если не ныть. Получил же Эд свой плащ. Я поднял рюмку и приветствовал даму в двух кожах. Под одной еще текла горячая кровь.

Она улыбнулась. Ее крупные зубы были перемазаны губной помадой. Краем салфетки она оттирала их, кося в карманное зеркальце траурно отороченный глаз. Пожалуй, я был единственным на земле человеком, отоварившим царские деньги через шестьдесят три года после революции.

Еще Эд писал, что русские эмигранты в сабвее вместо токенов пускают в ход трехкопеечные монеты. Дама достала сигаретку и фальшиво вертела головой. Я полез за спичками в карман. Они отсырели.

Музыка в Таблетках

Тина не просто съехала, она, несчастное создание, бежала. Когда я вернулся домой из Этрата и, наконец, добрался до дома – парижские улицы были забиты демонстрантами – мне показалось, что дверь взломана. Осторожно опустив саквояж на пол, я толкнул приоткрытую дверь и вошел в квартиру: она была пуста. Я уже собрался звонить в полицию, когда сообразил, что телефона тоже нет. Оставался лишь диванчик в дальней комнате да от инфаркта скончавшийся холодильник. На холодильнике я и нашел записку. Пользуясь исключительно фонетикой вместо грамматики, демон моих ночей, она писала, что начинает новую жизнь. Вита нова! В переводе с китайского это означало, что я слишком зашелся на берегу океана и один из ее обожателей, скорее всего, тот самый итальянский паяц с лысыми глазами, чье выжидательное терпение и гнусная улы-

бочка всегда выводили меня из себя, в конце концов укатил ее в свой замок — какую-нибудь задрипанную чердачную конуру на окраине. Меня огорчило и исчезновение некоторых вещей. Нет, до книг она не дотронулась и роллекс мой не взяла. Она, а скорее всего этот опереточный шут, любитель клубничного цвета панталон, захватила в свой новый и, клянусь, сомнительный рай, мое стерео, и теперь в квартире стояла пыльная истеричная тишина.

Две вещи я решил сделать немедленно. Выпить в баре и купить хоть какой-нибудь дешевый, но разговорчивый приемник. Спустившись в кафе, я стал обдумывать нечто третье, замысловатое, изложению просто так не поддающееся. Она клубилась, эта моя третья идея, как зимний вокзал под открытым вечерним небом, как горный перевал в театральном антракте двух, друг от друга оглохших гроз.

Позже я завтракал в маленьком аргентинском ресторанчике, забитом после островной баталии патриотами. Хозяйка, милейшая толстушка, знавшая меня уже года три, поинтересовалась, где Тина. Я назвал наугад первое же пришедшее в голову кладбище. Поднос хозяйки клюнул боком, тарелка с антрекотом поехала, но все вовремя устроилось. Я выпил изрядное количество красного и на коньяке, за чашкой кофе, ввинтился в реальность. Прежде всего был конец августа. Город стоил бедни и был пуст. Тинино имя прочно устроилось в названии ресторана. Немцы да янки шастали мимо столика. Магазины со

спущенными жалюзи обещали так простоять по крайней мере еще неделю. По бульварам давно уже не неся сплошной рычащий поток металла, а катились редкие, на город обреченные драндулеты. Совершенно было непонятно, из каких ворот выкатилась утренняя демонстрация... Я расплатился с любезнейшей Мари-Луизой, она же Реджина или Эсперанца, и отправился неизвестно куда, но с явным ощущением затвердевания вокзальных дымов и грозовых туч, которые с каждым моим шагом наливались полновесным свинцом. О свинце я, честно говоря, и думал. Ближе к вечеру, когда я окончательно созрел для террористических акций и в голове моей замелькало чудесное имя братьев Ле Паж, в Марэ, где-то рядом с улицей Короля Сицилии, в одном из ее боковых отростков, я нарвался на слабо освещенный пенальчик музыкального магазина. Витрина была завешена старыми афишами и старик Карузо, обнимая Шаляпина, делал нос развалинам Коллизея. Я пощупал то место в памяти, где еще теплилось желание купить приемник и, под треньканье колокольчика, вошел. Лавка, как мне показалось сначала, была пуста. Чудесный мицибиши последней марки, как брикет золота тускло светился на полке. Из-под лиловых полей шляпы манекена выглядывали клипсы стереонаушников. Чудовищных размеров граммофон стоял в углу. На куче антрацитно-черных пластинок сидел пенсионного возраста плюшевый пес. "Голос его хозяина" — как это называлось по обе стороны последней войны. Я уже соби-

рался выйти — не покупать же в этой берлоге стерео: ни гарантии не получишь, ни сдачи — как вдруг увидел от руки написанное объявление, приклеенное на грудь Мэрлин Монро. Хорошо выбранное место, по-рыбьи рот разевающей суицидальницы. "Музыка в таблетках. Всем кроме язвенников." Подобное сочетание заставило меня довольно-таки гнусно хмыкнуть и тогда из угла, из того, что оказалось кожаны́м, глубоким как могила, креслом, вылез сухой, с бабочкой на кадыке, старикан. Он попробывал на мне свой английский, без перерыва — немецкий, нечто вроде польского и, наконец, вернулся на язык генерала де Голля. На всех четырех он имел один и тот же, как бы носом клюющий акцент. "Молодой человек желает попробовать — сказал он утвердительно. — Изобретение еще не получило огласки. Одно дело совершить гениальное открытие, другое — иметь деньги на рекламу. Все, что вы видите здесь на полках — вчерашний день, трупы музыки. Я держу этот хлам для контраста, как на выставке гоночных машин уместно поставить в центре телегу... К тому же, если я выставлю товар лицом, народ подумает, что здесь аптека. Нет ли у юноши гастритных явлений? Не был ли он, упаси Бог, оперирован в области кишечника?" И он достал с полки обычную, из-под нескафе, банку и выкатил мне на ладонь крупную голую пилюлю. — Пробная.., — улыбнулся он. — Финал фортепьянного концерта Чайковского..." Я мотнул головой — в свое время меня перекормили Чайковским и это был как раз тот случай,

когда могли начаться гастритные явления, или, по крайней мере, диаррея. Мы сошлись на увертюре к "Дон Джованни", и голубая пилюля сменилась розовой с иероглифом порядкового номера. Я принял из рук старикана стакан водопроводной воды и, следуя приглашающему жесту, опустился в глубокое кресло. — Прозит! — сказал я, заглатывая увертюру. Вода была ржавой на вкус.

Смеркалось. Я видел, утопая в кожаных волнах кресла, сквозь немытое окно лавочки дом напротив — отраженный в стеклах, издыхающий закат, борьба грязно-огненного с грязно-голубым. Девочка с замутненным взглядом, промахиваясь, поливала цветы. Кошка, по-бандитски вытягивая шею, крадась по карнизу. Внутри у меня шипело, словно я принял сразу две таблетки алка-зелцер. Я пытался сосредоточиться, но мысль, что со мною должно что-то случиться, как это было в первый раз, когда мы с Тиной попробовали кислоту,* на этот раз смешала меня. "Тина, — подумал я, — капризная развратная негодница." Я отчетливо увидел ее мальчишеские загорелые в белых носках ноги, но в этот момент, глупо сказать — почти со щелчком — внутри меня раскрылась конкретная высококачественная, ни с чем не сравнимая тишина. Перепутать ее было невозможно. Она была набита осторожными мелкими движениями: устройством носового платка, перелистыванием какой-нибудь там седьмой на пюпитре страницы, кивком в первый ряд, осторожным нырком в тень контрабаса, где мгновенным подергива-

* Кислота — ЛСД.

нием освобождались шнурки лаковых туфель...

Давление этой разверстой расступающейся тишины вытеснило из меня обычный ежесекундный джаминг, прописанный пожизненно. Подобное случалось со мною лишь в те редкие мгновения, когда жизнь переходит из одной части в другую, на переломе судьбы, когда происходит оглушительный взрыв внутренней тишины, зрительно подсвеченный тем серебристо-лиловым светом, который как-то неизбежно связан с адреналином. Я могу так спокойно теперь описывать это свое первое состояние, потому что со временем я укрепился в нем, как в этом кожаном кресле, знал, так сказать, где у него подлокотники... Между прочим, все медитации дзена, все шав-асаны, раджа-йога и монастырское затворничество алчут именно этой тишины — оставим музыку — именно этого отсутствия внутреннего шума.

Дальнейшее произошло мгновенно: это не музыка, известная мне до четверть-тактов, рухнула на меня, это я провалился в нее, потому что она была не снаружи, не внутри, а везде. Безусловно это была версия, которую я когда-то, не будучи искушенным, считал лучшей — Лорен Маазеля.

Возвращение из концертного зала в окончательно угасшую лавочку вызвало у меня тошноту. Я тупо смотрел на старикана, протягивавшего мне опять стакан воды. Наконец до меня дошло, что он предлагает мне еще одну пилюлю. Я замахал руками, барахтаясь и пытаюсь выбраться из кресла. Через какое-то криво-остриженное время — вот-вот! раз-

рушается ощущение времени, оно ползет как чулок! — появилось слово *нейтрализатор* и я отправил к Моцарту вдогонку лакрицей отдающий черный шарик. — Мы пока не производим одноразовых пилюль, — наплывал хозяин. — Все эксперименты за свой счет! Если не принять нейтрализатор, музыка вернется через несколько минут. Все, конечно, зависит от организма, а в некоторых случаях от одновременно принятых лекарств или алкоголя... Один знакомый, знаете ли, из Шуберта тремя стаканами водки сделал чуть ли не Бетховена... А скажем вальюм понижает громкость. А если накуриться травы, как делают некоторые неразумные молодые люди, то из простенького марша, годного лишь для выгуливания лошадей, получится Шенберг или, упаси Боже, Колтрейн позднего периода...”

Старикан не принимал кредитных карт, наличными у меня было не густо. Однако я отоварился Токкатами Баха в исполнении чудака Гульда, набрал почти с десяток пилюль Шуберта, взял Сороковую Моцарта и сумасшедшего саксофониста Джона Хэнди. В виде небольшого презента мне был выдан Оскар Питерсон. Мы пожали друг другу руки, старикан посоветовал побольше пить молока, и я вышел в раннюю нежную ночь.

Месяц я ничего не делал. Я сидел дома или шлялся по городу, заглотив с утра пораньше пилюлю. Музыка возвращалась с ровными промежутками и качество ее не менялось. Я принимал нейтралит-

заторы чрезвычайно редко. Иногда я умудрялся спать в волнах шопеновских этюдов, под морозящим дождем Эрика Сати или под жаркую колыбельную Бахианы Вилла Лобос. Несколько раз меня останавливала полиция. Несколько раз меня возили на идиотские тесты. Конечно, я выглядел как наркоман, но что в жизни не наркомания? Секс? Деньги? Слава? Все зависит лишь от сосредоточенности, вовлеченности. Или — наоборот — потерянности. Старик Глоцер, хозяин музыкальной лавки, придумал, как запихнуть человека вовнутрь оркестра, он был гений. Не рассказывать же фликам, что я молчу, погруженный в музыку? В моем виде на жительство поставили какую-то специальную отметку. Плевать. Я мало обращал внимания на внешнюю жизнь. Я менялся. Словно огромный внутренний вздох впервые в жизни наполнил мои легкие — я выходил из рутины существования, из всегда хорошо осознаваемой бессмыслицы, на отрешенный, терминологически не существующий, простор.

Мои попытки вернуться к занятиям, закончить изрядно подгнившую за это время повестушку, ни к чему не привели. Появилась в начале октября Тина. Ходила тихая по вновь заросшим мебелью комнатам — бедняжке мерещилось, что я задвинулся из-за нее. Я дал ей как-то от головной боли — пей! пей! именно это и есть от головной боли! — "Африку" Колтрейна. Она пролежала сутки не двигаясь, глядя в потолок. Позднее, мы принимали что-нибудь одновременно — Бетховена или Моцарта — и, обняв-

шись, ложились в постель. С сексом было кончено. То, что мы делали теперь вместе, имело другое правописание. Она говорила — любовь. Я до сих пор не называю это никак. Дашь имя — потеряешь. Как гвоздь вобьешь.

В конце января, накануне ее дня рождения, закупив у старика Глоцера изрядное количество фортепьянных концертов и знаменитых квартетов, мы отправились в горы. Мой старый приятель, океанограф, давно предлагал мне ключи от уютного, на краю деревни стоящего, шале. Она чудно каталась, моя девочка; сжатые вместе коленки, удар острием лыжной палки влево, вправо, обгорелый нос и облака вместо глаз на стеклах круглых альпийских очков. Вечером в огромном камине медленно прогорало полено, сушились на спинках приставленных к огню стульев свитера и носки, белыми нитями висел снег в раме черного окна, и мы, лежа на полу напротив огня, листали журналы тридцатилетней давности под Сарабанду Генделя, под бамбуковую флейту японца Ямамото.

Она погибла под обвалом, Тина, солнечным полднем в день своего рождения. Мы были на снежной целине, шли на большой скорости, вздымая белые волны, прижатые сосняком к отвесной стене Большого Карниза. Ни она, ни я обвала не слышали. Она с утра, еще за кофе, приняла Шестую Симфонию Бетховена (Бернштейн), я же был в плену у Гил Эванса ("Там, где летают фламинго"). Расстояние между нами было около двадцати метров. Объезжая

чью-то потерянную красную варежку, я почувствовал ледяной выдох, обжегшей шею, и мгновенно меня обогнавший вихрь серебряной пылью закрыл все видимое пространство. Я тормозил, низко сидя, ослепнув, но все же пытаюсь повернуться. Розовые фламинго взрывались одна за другою в моей голове. Ветер снес сухой снежный заслон и поднял мои волосы: я стоял в метре от недогнавшей меня, аккуратной, все еще поскрипывающей, все еще на швах оползающей ультрамариновой стены льда и снега. Долина внизу лежала празднично раскрашенной картинкой, и двое школяров в подвесной кабине прилипли сплюснутыми носами к стеклу. Проследив траекторию их сдвоенного удивления, я увидел на вершине сияющего надгробия криво торчащую острием вверх тинину лыжную палку.

Вернувшись на одной единственной Пятой Бетховена в Париж, двигаясь как сломанный автомат, бросив у консьержки внизу и лыжи, и сумку, я отправился в магазин Глоцера. У меня не было черного лакричного нейтрализатора, мне нечем было остановить тираническую работу чужого гения. Я не нашел магазин на этот раз. На его месте, сверкая отвратительно свежей краской, красовалось бюро путешествий: Мальта, Бермуды, Греция, как всегда гологрудые, соленой водой сбрызнутые дивы в песке. Мне нужно было совсем другое путешествие. Увы, улыбчатая ведьма за конторкой ничего не могла мне сообщить о бывшем владельце. Я ткнулся туда-

сюда, побывал в синагоге, околотке, но ничего не нашел.

Помнится, перед самым отъездом в горы, Глоцер обещал мне по приезде дать отведать нечто совсем новое — "пустышку", как он ее называл: пилюлю чистейшей высококачественной тишины. — Пробить ее, сказал он, — мог бы, разве что, выстрел в упор.

Приписанный к Пятой Симфонии, с которой ничего не делают ни вальюм, ни героин, ни опиум, заложник старика Ван Людвиг, я собираюсь на последние деньги в Лозанну — менять кровь. Старый трюк, быть может, сработает.

Западный берег Коцита

Я знал Натана Эндрю, когда он еще был женщиной.

Дело было в России, на даче. В дальних комнатах варили варенье, на ослепшей от солнца странице сидел кузнечик, по окраине слуха глухо стучал товарняк. В середине лета в Подмоскowie иногда наступает безвременье. Кажется, что так было всегда — чистое небо с забытым над прудом облаком, горячая садовая листва, хрусткий гравий дорожки. Книга, скучающая в сетке гамака, конечно же, оказывалась "Анной Карениной", порезы лечились подорожником, доносившиеся из купальни крики были приглушены не расстоянием, а дырой во времени. Крикнешь, и крик твой, не успевая разрастись, исчезает в лазурных трещинах. Власть, газеты, радиобред, городские сплетни — все это отсутствовало. Гроза надвигалась из-за Успенского, театральная, хо-

рошо отрепетированная гроза. Ветер задирает клетчатую юбку скатерти, опрокидывает молочник. Свирепый шмель ввинчивался в тугий воздух, но не мог сдвинуться и на миллиметр. Запах поднятой пыли и беспартийного электричества заливал округу. Хлопали окна мезонина, и все еще сухие молнии сыпались за дальний луг.

Я снимал комнату с выходом в сад, а Натан Эндрю, в те времена Наташа Андреева, был, была, были неуклюжей восемнадцатилетней девицей, пасшейся между верандой и малинником: короткие мокрые после купания волосы, исподлобья тяжелый взгляд. Мы куда-то отправлялись на велосипедах, горячо дышал сухой ельник, от рябой светотени кружилась голова. Наташа готовилась в институт и привидением бродила светлыми ночами меж яблонь: ситцевый сарафан, учебник в руках. Велосипедные поездки, вечерние купания в парной пресной воде под аккомпанимент лягушек, прогулки через луг к заброшенной церкви, ночное одалживание друг у друга сигарет, спичек, электроплитки ни к чему не привели. Я был дик, занят самим собою, мантрамами, кундалини, праной, самиздатовским буддизмом, самодельным дзенем. Потом дыра во времени затянулась, оказалось, что мы уже в августе, поехали родственники хозяйки, и вечерами в саду составляли теперь вместе столы, появлялась закуска, водка, крепкоголовый майор в выцветшей майке терзал шестиструнку, и работе боей пришел конец. Накануне отъезда, вечером, Наташа зашла, как обыч-

но, выкурить сигарету, поболтать ни о чем, покачаться в старом кресле-качалке. Ушла она под утро, и, хотя мне совершенно нечего вспомнить, я готов пригнать, что была она все же особой женского пола.

Теперь, через одиннадцать лет, передо мною стоял наглого вида блондин в рубашке поло и джинсах в обтяжку. Татуированный коробей дрожал на бицепсе, золотая серьга была продета в мочку уха, американский паспорт торчал из кармана. То есть я, конечно, слышал, что она или он эмигрировали лет на шесть раньше меня к богатым бруклинским родственникам, но я и понятия не имел, что деньги торговцев мехами пошли на ставшее рутинным хирургическое вмешательство в замыслы Творца. Все это было объяснено кривыми полусловами на пути к переполненному японцами бару. Позже я узнал, что новоиспеченный Натан Эндрю подвергся остракизму. Бруклинская родня не могла смириться с метаморфозой. "Но даже если бы они и смирились, — мрачно улыбался Натан, — что толку? Ведь, чего доброго, потребовали бы сделать обрезание..."

Натана привез мой старинный приятель Илья. Косолапый, сутулый, из тех, про кого говорят "неладно скроен да крепко сшит". Когда-то он был чемпионом по боксу в легком весе. С тех пор к нему приклеилась кличка Муха. Жил он, на том берегу Коцита, в Москве, в трех шагах от меня, за полуразрушенной колокольней на Рождественском бульваре. Родители — и мать и отец — были на дипломати-

ческой службе и погибли в авиационной катастрофе между Хай-Кео и Чанг-Кьянг. Мухе шел семнадцатый год, его сестре было четырнадцать. Они отказались от опекунов, и через огромную, коврами выстланную квартиру, толпами пошел народ. В основном это были старшие друзья: джазмены с Маяка, актрисы из ВГИКа, шпана с Таганки, чердачные поэты, подвальные художники. Друзья приводили друзей, разбредались по комнатам, играли на гитарах, пили светлое грузинское вино, обнимались по углам. Квартира была доступна двадцать четыре часа в сутки. Ключ, если Муха с Асей отсутствовали, был под ковриком. Часто ночные или утренние гости, наткнувшись на спящих подростков в их собственной спальне, удивленно спрашивали, чьи это дети. Постепенно были проданы ковры, разбит или продан фарфор, украден зимний голландский пейзаж, при смерти был отцовский опель. Меня загребли в армию, Муха пропал из виду, слухи о нем в мой сибирский заброшенный гарнизон не доходили. Демобилизовавшись, я не мог его разыскать. Квартира была на трех замках, телефон не отвечал. Но однажды в метро я влетел в вдребезги беременную Асю. От нее я узнал, что Муха шляется по прикаспийским степям с полоумной охотницей на снежного человека. За два года до моего отъезда, он объявился сам. С тех пор мы виделись ежедневно. То он забегал пропустить стаканчик баккарди — Куба баловала нас дешевым ромом, то я забредал к нему в Донской монастырь на кладбище, где мы, сидя в тени

лип на могильных плитах, базлали о чем придется. О политике, конечно, о бабах, о том кто сел, а кто только собирается. Работал Муха в те времена в крематории и был сказочно богат.

Прилетели они налегке. Никакого багажа, ручных сумок, зонтов, клюшек для гольфа, скорострельных винтовок, воскресных журналов. Ровным счетом ничего. Даже пиджаков на них не было. Джинсы, да не слишком свежие рубахи. Бар в Руаси не самое лучшее место на свете. Мы тянули пиво, приглядываясь друг к другу. Японцы обменивались фотовспышками. Мухе я был рад, к Натану не знал как относиться. Накачавшись хеннекеном, мы отправились отлить. Естественно, Натан с нами. Втроем мы журчали на разные лады. Задрав головы. Меня так и тянуло подсмотреть, чем Натан это делает. — Я вам такой Париж устрою, — обещал я, — по первому классу. — Видишь ли, — Муха застегивался, — мы, честно говоря, приехали по делам. Будем в запарке. Но вечера у нас свободные. — Натан, оттопырив губу, рассматривал в зеркале зуб. — Если раньше, — думал я, — в нем было что-то мужиковатое, то теперь он смахивает на бабу... — Ты сам-то, — хлопнул меня по плечу Муха, — занят?

Я был более чем не занят. Дела мои не только не шли, но и не ползли. Они не стояли и не лежали. Их просто не было. Я был в дыре, которую торжественно принимал за жизненный перекресток. За кварти-

ру было не плачено, телефон грозились отключить, джинсы расползались. Мысль о собственном идиотизме еще не посетила меня. Я был day-dreamer, улыбочивый кретин, уверенный в том, что именно мне суждено понять и сформулировать роковую разницу между Востоком и Западом. Естественно, практических результатов это не давало. Места на этих должностях от Ла Манша до Гудзона были заняты, а уроки тенниса перекормленным детям и вдалбливание русской грамматики худеющим стервам позволяли мне лишь сводить концы с концами. Вернее, знать насколько они не сходятся. К тому же смутная идея о том, что Запад из Востока не вычитается, и сформулировать разницу, тем более роковую, невозможно уже начала пульсировать. И Сена, сменив Москва-реку, была лишь другим берегом Коцита.

У моих американцев были ключи от чьей-то квартиры и они отправились отсыпаться. Сквозь солнечный пузырящийся Париж на них глядела нью-йоркская ночь.

На следующий день они заехали за мной на машине. — Для начала нам нужно приодеться, — сказал Натан. — В таком виде работать нельзя. Есть что-нибудь поблизости? — Муха крутил руль, я показывал дорогу. — Здесь, — наконец остановил я его. — Запарковаться можно в переулке у церкви. — Валий дальше, — Натан чистил ногти спичкой. — То есть как? — удивился я. — Здесь не дорого и прилично. — Никаких больших магазинов, — был ответ. — Что-нибудь тихое и уютное. Большие магазины

нам противопоказаны”. Мы отчалили от Самара. По дороге я думал, что у Натана наверняка сохранился в подавленной форме месячный цикл. Или же Нью-Йорк сделал из него психа.

Все было как во сне. То ли от влажной дурной жары. То ли от вчерашнего пива. То ли от скорости превращений. Мои друзья обернулись миллионерами. Они скупали все подряд. Кожаные джинсы, духи, свитера, солнечные очки, купальные костюмы, запонки, галстуки, часы, перчатки. Магазин за магазином, переходя с левой стороны улицы на правую, сворачивая в переулки, не пропуская ни одной лавочки, ни одного киоска. К полудню машина была завалена пакетами, багажник с трудом закрывался, заднее сидение пришлось разгребать. Свернув к Сене, мы запарковались у самой воды. Красавица-яхта отбрасывала решетчатую тень. Загорелый черт в выцветших джинсах поливал цветы. Двери нашей машины были распахнуты, миллионеры мои переоделись. — У вас что в Штатах, экономический кризис, — интересовался я. — Белый дом уже перекрасили в красный?” Муха был в белоснежном костюме от Валентино. Натан напялил на себя нечто невообразимое. Джеймс Бондов а ля Бруклин: розовый бархатный блейзер, шелковую полосатую рубаху с отложным воротом, черные джинсы в обтяжку. Он сидел выставив ноги в белых лаковых сапогах и распаковывал коробку с часами. Очки-порш были у него на носу, сигара торчала из кармана. Все мы взмокли, ветра совсем не было, и где-то над Сэн-Клу клуби-

лись, выстраиваясь в боевом порядке, облака. — Хорошо бы пива, — сказал Муха и облизнулся. Натан кивнул. В профиль у него были густые длинные ресницы.

Я отвел их в кафе. — Не годится, — заглянув вовнутрь на распаренные пунцовые банкетки и угрюмую стойку, объявил Натан. Они переглянулись с Мухой. — Нет ли чего-нибудь посOLIDнее? Я опешил. — В каком смысле? — В смысле цен. Нам расплачиваться наличными не интересно. Мы все берем на пластик, в кредит. Я отвел их в единственный дорогой бар поблизости. Педрилы, ледяной воздух, цены выше Эйфелевой башни. — Почему здесь пиво? — спросил Натан. Я только начал соображать, что меня в нем раздражало — искусственный голос, короткие рубленные фразы, словно он начитался Дос Пасоса. В том, что он ничего, кроме спортивного приложения Нью-Йорк Таймс, не читает, я был уверен. Позднее я понял свой промах. Конечно, он читал бесконечные комментарии и колонки в женских журналах. Бисексуальность, маски для лица из толченого стекла, как приготовить мартини в аравийской пустыне... Застукав его через день в кондитерской с осовелым взглядом и липким ртом, я понял, что подмосковную девицу бруклинскими штучками просто так не возьмешь, — Пиво? Не знаю. Самое дорогое франков по двадцать пять... — Окей, возьмем икорки, — Муха уже подзывал тающего от счастья гарсона. — Переведи ему...” К моему удивлению, икра нашлась. — Триста грамм, — сказал Натан. — Водки бы,

— простонал Муха. — Мы на работе, — огрызнулся Натан. — Господа, — встрял я, — знаете ли, почему на берегах Сены рыбы яйца? — Расслабься, — был ответ, — будь как дома...

Сидя в полутьме бара, я думал, что в такие дни солнце является единственной архитектурой города. Тяжелая солнечная стена вздымалась напротив. Мощная колонна била вверх сквозь отверстие в потолке террасы. Пучок лиловых лучей натягивал невидимый отвес на повороте винтовой лестницы. Как тишина вставлена в музыку, солнечные строения были вставлены в городские. И как пальцы, заплетенные в пальцы, они были обречены расстаться вечером. То же самое происходило и со мною. Дневные мечты гасли на закате, реальность подсовывала угрюмые камни, кривые фасады, обшарпанные углы. — Слушай, старик, — Муха не утруждал себя мазать икру на тортинку, он предпочитал, как в Москве, есть ложкой, — у вас здесь синглары существуют?" Какое-то время я смотрел на него не узнавая. Неужели это мы? Он, я... Ребята с Рождественского бульвара. Где ранним летом все запушено тополиным пухом, а зимою снег сыпет с такой яростью, словно хочет выбелить до нуля, до чистого белого цвета грешный город... — Бары для холостяков? Как у нас на Второй авеню? Чтобы с девушкой можно встретиться. — У нас бляди, — сказал я. — На все вкусы". Я вспомнил неизвестно к чему, что пробираясь в толпе, Муха пользовался баскетбольными приемами. Что осталось от московского Мухи? А от меня? Пожалуй, честнее

всех был Натан. Меняться так меняться. То, что мы уехали, оставили тот берег, было ясно. В то, что мы никуда не причалили, не хотелось верить. — Блядям нужно выдавать наличные, — Муха тоже приглядывался ко мне; быть может, так же как и я, лишь внешне участвуя в разговоре. — А девушек можно накачать шампанским. От пузыриков они становятся легче. Идут навзлет... Правда, Нат?" Натан смотрел в угол, где у стойки переминался с ноги на ногу наголо стриженный усач. — Объясни ты ему, — сказал он наконец, — что мы с ним будем в кошки-мышки прятаться..."

Способность удивляться требует наличия пустот. Ребята были на гастролях. Дома они обменялись с Фредом Мак Лавски кредитными карточками. Фред сваливал к тетке в Гонконг. Ровно через четырнадцать дней старый хмырь Мак Лавски, который натер себе мозоль на этом деле, должен был заявить узкоглазым местным властям о пропаже бумажника, двухсот тридцати двух рублей зеленью, фотографии сильно раздетой брюнетки, нескольких сабвеевских токенов и Визы, она же Амэрикен Экспресс. За это время бывшие строители мунизма должны были опустошить магазины Европы. Трюк был старый, заплесневелый, и Мак Лавски, само собой, менял мухину Визу и Натановский Экспресс на *même chose* с кем-то, отбывающим в Австралию. Вещи было условлено сдать в магазин "О'Десса" на Лонг-Айлэнд. — Помнишь Ривкина с Таганки? — тормошил мою память Муха. — Он на вторых ролях ошивался. Теперь у него двухэтажный шоп". С до-

кументами тоже проблем не было. На Брайтоне заделывали документы на любое имя. Называйся хоть Хрущевым, хоть Эйзенхауэром. Подписи молодые люди воспроизводили идеально. Фред Мак Лавски в свое время был натановским ухажером. Когда он, видимо, был ею.

Голова моя шла кругом. Натан, прикурив сигару, встал и отправился к стойке. Криво улыбаясь, он спросил что-то у усача. — Понимаешь теперь, — сказал Муха, — что происходит? Мы без копейки...” И, кивнув в сторону бара, понизил голос и добавил: — А это я отказываюсь принимать. Стоило защищать промежность, чтобы опять гоняться за мужиками. Мозгам моим это недоступно...” — Мозги здесь ни при чем, — уверил его я. — Большие же магазины Натан не любит, — закончил Муха, — в больших и в ювелирных легко перекрывается выход...”

Натан был в Европе по карте пятый раз. Муха, увязший с устройством дел, работавший и таксистом, и дорменом, продававший пылесосы, и, одно время ошивавшийся в секретарях у известного фотографа, решил рискнуть и заработать на свое такси. — В крематории, старик, было легче. Бывшие совы делают в Штатах хорошую капусту. Трафик! Пуляют оружие, кокаин, героин. Потом уходят в чистый бизнес. Если такой существует. Ты бы видел Брайтон! Расцвет НЭПа. Пальба, шампанское с селедкой, блатные оркестры... Дело в том, что дальше ехать некуда. Америка — наше последнее приключение...”

От фотографа Муха ушел сам. Хотя и получал хорошие зеленые деньги. — Невозможно, мужик..., целый день через контору идут подростки женского пола, и каждая, каждая! готова немедленно вывернуться наизнанку. Босс работал часа три в сутки. Остальное время в студии творился суший сатирикон. — Не жалеешь, что уехал? — спросил я. — Смеешься? Жалею, что не смылся лет на двадцать раньше. Начинать нужно вместе с жизнью. А не против течения, как теперь. Теперь все впопыхах. Сучий возраст поджимает.” Вернулся Натан. У него был вид утопленника. Утопшего в сметане.

Облако, жалкое скопление паров, загородило июльское солнце. Рухнули стены и колонны, растаяли контрфорсы, вместо торжественной напряженной архитектуры осталась висеть лишь легкая пыль.

Я прошлялся с ними неделю. Двухкомнатная квартира в Пасси выглядела, как склад. Натан охамел. Он тыкал пальцем в то и это. Любой, проживший в Штатах полтора года китаец, мог уличить его акцент. Судя по всему, у него сдавали нервы, играло очко. Вечером в ресторане он заказывал улиток да лягушек, из чего, по его мнению, и состояла французская кухня. Муха был тих, его мрачный юмор терял последние просветы. Я выбирал вино. Так как американский экспресс все еще крутил колеса, гарсоны кивали с одобрением — вино я выбирал с любовью. Воздушная зыбкая идея, зародившаяся в эти дни, уплотнялась. Я и сам начал шастать

глазами по витринам, примеряя твидовый пиджак, поглаживая компактное стерео. Пожалуй, если бы и у меня был бы шанс отовариться на карту, я мог бы проскочить осень и наплевать на зиму. Два дня шопинга решили бы все проблемы. Я знал, что мне было нужно: от книг до пластинок и, если бы можно было куда-нибудь сплавить Натана, вдвоем с Мухой мы отстрелялись бы в два счета.

Я сводил их на Пигаль, показал пигалиц, протащил по Сэн-Дени. — Пора блядям делать электронные вставки, — грустно мечтал Муха, — как в уличных банках. Чтобы можно было заряжать карту.” Они собирались на уик-энд в Германию. *Coup de force*. Я предупредил, что боши отличаются от лягушатников в знании Шекспира. Натан страдал животом. Муха вычислял, как бы перебраться назад в Европу. — Найди мне девушку, — просил он. — Фиктивный брак. Но тоже, чтобы не страшнее атомной войны была...” — Как вы будете через таможеню в Штатах пробираться? — интересовался я. — Без проблем, — Натан объедался вальюмом, — еще никто не залетал. — Мы будем первые, — вздохнул Муха.

Я уехал к друзьям в деревню на уик-энд. Я был выпотрошен, переко Sobочен, растерян... Сколько раз я говорил себе — никаких дел, никаких контактов с русскими, никаких попок и гулянок. Боже!... Ни свежий лесной воздух, ни тишина, о которой я так мечтал в Париже, ни внимание чуткоглазой Жанны, ни тактичные разговоры с Жаком не успокоили

меня. Я лежал посредине залитой теплым лунным светом ночи, и со всех сторон на меня надвигались расцветенные витрины. Белый плащ размахивал пустыми рукавами, черный шарф мяукал котом, перчатки и галстуки скользили вдоль пустоты. Чушь, конечно, безумная чушь, без которой я мог спокойно прожить... Но это было как во сне — идти через череду магазинов и брать что угодно. Из детской сказки, выходявшей кривым боком.

Их не арестовали, их не допрашивали, даже не повысили голос, но Виза в городе Мюнхен сгорела. Просто попросили зайти завтра для выяснения обстоятельств. — Ничего, — вздыхал Натан, еще более похудевший, с еще удлиннившимися ресницами и провалившимися глазами, — мы свой пятилетний план выполнили. Можно расслабиться". Мы сидели на террасе кафе в Пале-Рояль. Все было как на картине Моне. Жирный солнечный воздух. Воздух со сливочными сгущениями. Шуршали платья дам. Бежали дети в аккуратных костюмчиках. Ползали в песочнице упитанные карапузы. На голубой скатерти, в тени зонта, рюмка кира выглядела нахально, как на картине гиперреалиста. Человек в котелке и с тростью вышел из прошлого века, прошел мимо нашего столика, обдал запахом плесени и, во тьме аркады, исчез. Мир медленно размывало. Словно на объектив дьшало разгоряченное дитя. Я взмок. Все мы были слегка взмокшие. Два гигантских пакета от Кензо уткнулись в колени пустому креслу. Я

снял пиджак, повесил на спинку стула. Народ фланжировал за нашими спинами: мидинетки, хорошо одетые безработные, туристы, искатели приключений. Я чувствовал, что страница моей жизни, прилипла к предыдущей и не переворачивается. — Господа, — сказал я, наконец, фальшивым голосом, — хоть я и знаю, что вы притомились, у меня есть предложение. Я хочу вступить в дело”. Натан кисло посмотрел на меня. Муха попытался проснуться. — Я отдаю вам свою Визу в обмен на два дня шопинга в Париже. Вы делаете что угодно в Нью-Йорке, я же набираю товара впрок и умолкаю как сверчок до первого снега...” Натан засунул мизинец под верхний резец и закатил глаз. — Надо подумать, — зевнул Муха, — извини... — ”Нада” по-испански — ничего, — пробормотал Натан.

— Жмурик денег стоит, — вспомнил я формулу жизни Мухи. Дело было в столице мира Москве. — Только дурак думает, что с мертвого нечего взять...” — Мальый в полном порядке, — говорили в те времена про Муху, — любой гроб достать может.” С гробами в столице было плохо. Можно было подобрать для карлицы или гиганта, но человек среднего роста помирал весь в сомнениях: во что положить? Где тару возьмут? Конечно, для людей со связями проблем не существовало: лакированные крышки, пурпурное нутро, подушечка, чтобы шея не затекала — лежи не хочу... И в то время, как важный покойник с серебряным рублем под языком уже

плыл через Стикс, бедолага, не успевший заручиться связями перед смертью, тух где-нибудь в красном уголке под вой родственников, бессильных перед лицом официального рока. Выходило, что и на том свете номенклатура делала нос пролам и внештатным интелеям. Этим несчастным и спешил на помощь Муха. Не за бесплатно, конечно. Бесплатно в Союзе работают только генсеки и диссиденты. Общая картина выглядела так: пока родственники усердно скорбят в мраморном зале, напуганные больше тем, что и самим когда-нибудь придется лежать на цветочной грядке в парадном костюме, чем временным расставанием с драгоценным перемещенным лицом, юноша с черной повязкой на рукаве скорбно бубнит официальную скороговорку перед поставленным на платформу лифта гробом. Инвалиды-музыканты, все с картины Брейгеля-старшего, привычно тянут жилы из Шопена. Падает в обморок чья-нибудь беременная племянница. Снаружи моросит дождь или идет снег. Наконец, старик-геликонщик стучит три раза в пол деревянной ногой, подсобные рабочие в курилке бросают карты, оркестр придурков переходит на оглушающую скорбь, гроб закрывается крышкой и опускается в жуткую преисподнюю. В печь — думают родственники. Тем временем в нижнем зале идет слаженная работа. Подсобные Персефоны, ударники inferнального труда, вытряхивают Иванова из гроба, аккуратно собирают цветы и раздевают беднягу. Габардиновъй костюмчик, часы марки Победа, серебряный портсигар от товарищей

по службе, колечко с камушком, выходные штиблеты — вот обычно и весь улов. — Но некоторым, — рассказывал в то время ясноглазый и розовощекий Муха, — как фараону кладут в гроб любимые вещи. Кому золотую чарку с эмалевым Кремлем, кому коллекцию почетных грамот на растопку, а одному чудаку сунули под голову спидолу — Голос Америки, что ли, с того света слушать? Попадаются и аккордеоны, альбомы фотографий, кубки за первое место по метанию диска, гитары, сторублевки, грузинские кинжалы, запечатанные письма в высшую в буквальном смысле инстанцию.

Цветы шли на рынок. Вещи — скупщику в комиссионный магазин, гроб — задержанному дяде, ожидающему где-нибудь на задворках третий день. Оттого и гробы стояли частенько под цветами побитые, как паромы... Покойник же поступает в печь голым, как и родился. Что справедливо, — не забывал добавить Муха.

В те времена не только гробы были дефицитом в стране. Дефицитом была колбаса, сапоги, шапки, книги, соски — нет смысла перечислять. Иногда давали сапоги. Выстраивалась очередь. Иногда — Бодлера. В последний раз давали Америку. Муха взял. взял и Натан. Меня оделили Парижем. Учили же нас в детстве: дают — бери, бьют — беги...

— Слушай, — переместился я в Пале-Рояль, — а что вы в пересменок в крематории внизу толкались, грелись, что ли?" Муха посмотрел на меня, как

на мучителя, который заставил его по световому лучу тащиться черт-те куда... — Ну да, — тихо сказал он, — зимою так у печки сушились.” Вернулся из уборной Натан. В принципе бизнес принадлежал ему. Муха был на прицепе. Решал он. Принесли шербет, шампанское. Натан заказывал ”то самое, что Пушкин пил перед дуэлью. Потому и промазал.” Я его не отговаривал. — Окей, — сказал он наконец. — Нам все равно больше не протащить. Покажи твою карту. Надеюсь, ты подписываешься не как гений? Я улыбнулся. Моя скромная студия на расстоянии в две мили зарастала вещами. Кассеты сыпались на пол возле окна, Колтрейн, Каллас, Гульд; надежно укрытое от прямого солнца стерео сверкало в углу; рубашки и брюки, синее и бежевое, галстуки и шарфы падали на ворох цветной упаковочной бумаги. Стопка книг рассыпалась задетая новеньким сапогом. Я поднял бокал. Шампанское кипело. Муха опять засыпал. — Cheers! — улыбался я. За два дня я все успею. Чертовски мило с вашей стороны...” Не оборачиваясь, я протянул руку к пиджаку. Его не было.

Лора

В последний раз я ее видел на Пушкинской. Она спешила куда-то под крупным медленным снегом. Я хотел окликнуть ее, но не решился и она прошла совсем близко, так, что на меня пахнуло знакомыми духами. Снег начал уже закрашивать ее на зebre перехода, но вспыхнули лиловые уличные фонари и она мелькнула в последний раз возле углового армянского магазина.

Всего этого больше нет: снега, падающего завораживающе медленно, чугунных лампионов, Лоры. Ночные улицы в Париже освещают витрины магазинов и террасы кафе. Со снегом плохо. То есть, в горах его сколько угодно, но то в горах. Единственно, где мне опять померещилась Лора, это в Нью-Йорке. Был февраль и от Лексингтона до Парк-авеню нужно было пробираться, как в Арктике — согнувшись вдвое, ложась на ветер, скользя и караб-

каясь через сугробы. Впереди меня мелькала знакомая скунсовая шубка, снег слепил, и я не мог при всем желании рассмотреть спешащую женщину. Но в какой-то момент мне показалось, что это она, Лора. Фонари светили мертво и дико, как в Москве, буксовал кэб такси в снежной каше, вдребезги пьяный верзила пытался прикурить на ветру, терял равновесие, зажигалка гасла и он, выругавшись, швырнул ее в темноту. — Лора? — крикнул я против ветра, прекрасно понимая глупость и невероятность положения. Женщина повернулась. Это была черная девушка с настороженным, но мягким взглядом. Я извинился и проскочил мимо.

И вот теперь душным вечером в кафе на Шатле она сидела за соседним столиком, пила кофе и смотрела в окно. Она не изменилась. Волосы были так же высоко подобраны, обнажая шею. Та же нитка тусклого жемчуга, единственное, что осталось от матери, ссыльной пианистки, спадала в вырез платья. Я помнил движение, которым она расстегивала колье: высоко поднятые локти, две шпильки в зубах, отсутствующий взгляд. У нее было свойство затуманиваться. Температура человеческих отношений действовала на нее, как дыхание на стекло. Она то теряла прозрачность, то была видна насквозь до неприличия. Гарсон принес мой коньяк и стоял, дожидаясь денег. Не глядя, я протянул ему сотню, я боялся оторваться взглядом от столика Лоры, словно я сам вызвал ее появление напряжением заслезившегося взгляда, и любое переключение энергии, вни-

мания, излучения могло размыть ее, как сквозняк открытой двери клубы табачного дыма. Она смотрела в сторону подсвеченных струй фонтана, но не знаю, видела ли. Боже! Как был мне знаком этот поворот шеи и эта привычка перемаргивать, меня фокус взгляда. Пожалуй, я знал лучше это глупое перемаргивание, чем балки потолка над моей кроватью за пять лет парижской жизни.

Она достала сигареты и спички, постучала сигареткой по пачке, как она это делала раньше с папирсой, зажгла спичку и задумалась. И это было мне знакомо до какой-то внутренней щекотки — зажечь спичку и забыть про нее. Она вздрогнула от ожога и бросила спичку в пепельницу, где тут же вспыхнул маленький пожар. — Пироманки обязаны выходить замуж за пожарников, — это был предел остроумия ее брата, офицера каких-то замысловатых войск. Гарсон кончил отсчитывать сдачу и отошел. Мысль о том, что она делает здесь, в ночном кафе, где меломаны обсуждали только что закончившийся в соседнем театре концерт полуживого короля джаза, как-то не возникала. С одной стороны, я прекрасно знал, что она невыезная, с другой — я отвык от непроницаемости слова *граница*. Продащица цветов с кокетливой корзиночкой и измученным взглядом пробиралась меж столиков. Слабый запах жасмина мгновенно вызывал к жизни поворот темной после дождя аллеи и переплеск недалекой волны. — Откуда? — спросил я бархатный рукав. — Из Туниса, — был ответ. Я купил к черенку акку-

ратно привязанные, в букет собранные цветы жасмина и встал. Невидимые руки уже закрывали окно, аллея вспыхнула и погасла. — Лора... — позвал я ее. На лице моем медленно прорастала виноватая улыбка. Я знал, что будут слезы, что будут скомканные из разных эпох слова, что мы отправимся к ней, или, лучше, ко мне; я уже подумывал о том, что, несмотря на то, что до дома рукой подать, лучше взять такси... Она, наконец, очнулась и посмотрела на меня. — Лора... — я все еще улыбался. — Это же я! ” Она ткнула сигарету в кофейную чашку, жест, который я никогда не одобрял, быстро-быстро высыпала на стол мелочь, и я услышал нечто нечленораздельное по-французски. В следующую секунду она вскочила. Какое-то время мы стояли друг против друга. Я, видимо, протягивал ей жасмин. — Послушай, — на нас смотрели со всех сторон, — давай поговорим. Я попытался взять ее под локоть. Она продолжала по-французски. — Неужели и через пять лет ты не можешь мне простить какой-то чепухи?” Она вырвала руку и бросилась к двери. Подскочил гарсон, но увидев, что за кофе заплачено, лишь смахнул со стола и унес пепельницу. Я вернулся за столик. Жасмин был телесно-розового цвета. По эмигрантской привычке я перевел ее испуг на язык шпиономании, назначил ей свидание в кафе с толстым, в роговых очках резидентом, перетасовал карты и напялил на нее вуалетку и шляпу, но Мата Хари из нее не получалась. Неужели она не узнала меня? Неужели она исчезла навсегда? Какое

пошлое слово. Слово мертвое для философии, слово с дурным привкусом понимания смерти. Я залпом допил коньяк и вышел на улицу. Сухая гроза картавила над крышами. Огромный краб в аквариуме рыбного ресторана глазел на прохожих. Я остановился. И, рассматривая лязгающие по отражению моего лица клешни, я все понял. Конечно! Я же сбрил бороду! Бедная затравленная Лора в чужом городе, быть может, только что сбежавшая из отеля, от чутких товарищей по группе, со школьным запасом французского бормотания, Лора, к которой, конечно же, лепились лениво-наглые мужланы, и которых она не могла отбрить по-русски с московским шиком... Боже мой! Конечно же, я совсем изменился. Даже тогда, в России, когда я сбрил бороду в первый раз и, вернувшись домой с голым, как пятка лицом, не открыл дверь своим ключом, а позвонил — мать, отворив дверь, глядя в упор и улыбаясь, сказала тогда: — А Саши нет. Заходите попозже...” Краб шлепал клешней, пытаюсь оттяпать мое ухо. Такой клешней хорошо стричь колючую проволоку. Я повернулся уходить и угол зоны возле пятого поста медленно наплыл на карнавальную Сэн-Дени. Солнце, наколовшись на колючки предзонника, кровавило снег; на ветке ели кимарил снегирь; в дверях секс-шопа хихикала парочка.

Я стал бывать в кафе каждый день. Гарсоны привыкли ко мне, хозяин кивал из-за стойки. Я был смутно уверен, что наша встреча допроявится в ее

голове, и она вернется. И она пришла. Было время ланча, и кролики с крольчихами пожирали салат на террасе. Пьер, лысый гарсон лет двадцати пяти, выкатывал на улицу пустые пивные бочонки. Она стояла в дверях, дожидаясь, когда освободится проход. Темно-зеленое, цвета дачной хвои, шелковое платье было на ней. Волосы перехвачены такой же лентой. Единственно свободный столик был за моею спиною. Она, приподнимаясь на цыпочках, пробиралась меж стульев. Я встал ей навстречу. Секунду она смотрела на меня, потом повернулась и вышла.

Прошло еще две недели. Однажды я видел, как она мелькнула на выходе из метро. Я выскочил с салфеткой в руке, но ее уже не было. Толпа сожрала ее — толпа между Риволи и набережной провинциально прожорлива и самодовольна. Каждый раз, попадая в ее бурление, я теряюсь. От меня не остается ничего, кроме тупого раздражения. Как сумасшедший, я пробираюсь сквозь эти ленивые волны человеческого мяса и, вырвавшись, еще долго прихожу в себя.

Итак, она или жила рядом, или, я все чаще, сначала смея ради, а потом, как вполне допустимую версию, трогал зазубренную мысль о явочном кафе. В конце концов, агенты это и есть наши бывшие одноклассники и любовницы. На Мальте, во время дипломатического коктейля, встретил же я Валерку Ушкина, с которым прошло мое дачное детство. Я был достаточно пьян, чтобы сообразить в долю секунды, что мне лучше не узнавать его. Я из-

дали любовался им. Лощеный, без тени напряжения, перескакивающий с языка на язык. Его готовили в Японию, и на японца он был теперь похож — язык разрабатывает адекватные мышцы лица. Интересно, под каким паспортом он путешествовал? И тогда почему бы и не Лора? В конце концов, рутина жизни агента это не прыжки с поезда на полном ходу, а именно вялое посещение забегаловок и какие-нибудь невзрачные кивки головой.

Подобной чушью я и питался, сидя за пивом или сотерном. Выехать просто так она не могла из-за брата. Он был щитом и мечом, носил синие погоны и занимался вещами враждебными научному марксизму — исследованиями парапсихологии. Я терпеть его не мог. Самоуверенный наглый тип, покрытый особым советским лоском. Любой фанерно-мраморный сезам открывался ему, стоило лишь показать краешек служебного удостоверения. В итоге, лишь бы ему насолить, не думая о том, ранит ли это Лору, я отбил у него егозливую хохотливую девицу. Признаком любого серьезного события зачастую является глупость. Она оторачивает изнанку рока. Лора ушла от меня. На руках у меня осталось шаловливое девятнадцатилетнее дитя, с которым я совершенно не знал, что делать. Снег начал падать в ту эпоху моей жизни. Не только сверху или сбоку, но и изнутри. Уехал Симонян. Смылся на надувной лодке через Эвксинский Понт Гера Чуйков. Сема Голдштейн остался на гастролях. На месте Москвы образовалась густонаселенная пустыня. Я тоже по-

дал на выезд. Как ни странно, помог мне уехать именно ее брат. До этого мне вполне непрозрачно намекали, что уехать я могу, но не на Запад, а на Восток. Но голубоглазый капитан, начальник штатных ведьм и хиромантов, нажал какую-то кнопку, и меня вышвырнуло из рая. Очнулся я в Париже. Жизнь была прекрасна и, единственно, чего мне не хватало — его сестры.

В августе я подрядился отремонтировать квартиру хозяина ресторана, у которого время от времени я работал в баре. Деньги были хорошие, и мы закончили в двадцатых числах. Неделю я провел в Антибах на фестивале джаза, и мечта моего детства сбылась. Я познакомился со Стен Гетсом и Мак Коитайнером. Они помирали со смеху, когда я рассказывал им про трюки наших подпольных меломанов. Мак спросил, почему бы мне не накатать несколько страниц про московских джазменов. "Даун Бит", он был уверен, оторвет статью с руками.

Я отоспался в Антибах и загорел. Вернулся я в Париж первого сентября и в тот же вечер Лора пришла в кафе и никуда не убежала.

Счастье — слово, которого нет в моем словаре. Быть счастливым для меня еще хуже, чем быть мертвым. Точнее, это быть прижизненно мертвым. Опошление всего наилучшего в жизни, вот что такое счастье. В том, как люди произносят это слово, я вижу капитуляцию. Для меня жизнь состоит из восхи-

тительно острых углов. Сказать *счастье* все равно, что прокатить по моей жизни пятитонный асфальтовый каток. Когда меня спрашивают — ты счастлив? — меня начинает тошнить.

Мы сняли двухкомнатную квартиру возле Ботанического сада. Я все же сохранил свою крошечную студию в Маре. Она работала моделью у Анже-ло Тарлацци и в день получала столько же, сколько я зарабатывал за месяц уроками и стоянием за стойкой бара. Я не спрашивал ее ни о чем. Лишь в первую ночь я пытался задать два-три, усталостью анестезированных, вопроса. Она бродила голая по моей студии, рассматривала безделушки на столе, открыла дубовый поставец, плеснула себе порто, ушла в ванную и звякнула оттуда пробкой флакона. — Только бедные люди, — сказала она, наконец, сидя в кровати, — бедные и одинокие имеют так много дорогих вещей...” Не то чтобы меня это задело. Вовсе нет. Но несколько вопросов уже давно толклись на выходе. Она не хотела отвечать. Я не настаивал. К чему пугать судьбу? Гораздо труднее было привыкнуть говорить с нею по-французски. От русского она наотрез отказалась. Говорила она гораздо лучше меня, и я не удивляюсь. Она была полна тайничков и тайников. Я не удивился бы, узнав, что она, забавы ради, выучилась иглоукалыванию, ядерной физике или каратэ.

Она улетала время от времени. В Рим и Нью-Йорк, в Токио и Амстердам. И хотя моей ревности было совершенно нечем поживиться, я придумывал

идиотские, на уровне рисованных картинок, истории. Так, я совершенно серьезно подозревал ее в работе на министерство брата. Она была так хорошо вставлена в западную жизнь, так искусно вела дела, двигалась, говорила, покупала тряпки или подавала милостыню, жила с таким отсутствием комплексов, что я уверился, в том, что она выпущена на вопочирикать, а с серьезными, высшего класса, целями. Жизнь кишит совпадениями, стоит лишь этого захотеть. Взрыв бомбы в Венеции совпал с ее съемками на горбатых мостах. Похищение генерала Ллойда — с ее выступлением в Мадриде. Она была во время захвата ливийцами французского самолета, и в Токио во время покушения на премьер-министра. Хитроумно вырезанные составные картинки удалого терроризма каждый раз входили в паз ее замысловатого отсутствия. Но мысли эти обуревали меня, лишь когда ее не было. Стоило ей вернуться, заполнить воздух квартиры теплом, духами, телефонным чириканьем, музыкой — я сдавался. Мои подозрения были постсоветской паранойей. Душа моя от долгого сожительства с социальным прогрессом была взрыта страхом и разрыхлена. Залечить, заклеить пластырем эту, в прошлое повернутую сторону души моей не было никакой возможности. Ампутировать, думал я одно время...

Лора была живым талантом. Я прекрасно знал это и в Москве. Вокруг нее все начинало вибрировать. Тусклая рутинная чушь обретала с нею смысл. И любовь — еще одно слово из языка толпы — была

с нею не телесной вознею, а возвращением домой, прочь из этой жизни. Мы поднимались с нею в такие высокие небеса, что падать назад, возвращаться во взмокшую свалку простынь приходилось минутами. — Самые лучшие мгновенья, — сказала она однажды, — когда голова совсем выключена, когда она не способна в этот мир включиться. Наше мышление, наше полужнание и есть наказание за эту жизнь. Мы застряли, живя не между раем и адом, а между раем и раем...”

Новый год мы провели на берегу океана, в Нормандии, вдвоем. Дом, уверяла она, принадлежал ее родственникам. Я поморщился на это заявление, но сдержался. Стеклянная стена выходила прямо на безлюдный пляж, волны были зимние, черные, с шепелявой пеной, бакланы сидели на мокрых кочках и отражение камина плясало на стекле, на вислобрюхих полуживых тучах. Однажды, и это был как бы укол из заблудившегося будущего, сидя высоко в подушках с чашкой горячего вина, она сказала: — Ты знаешь, я не понимаю иногда, почему я с тобою...” И, увидав мое вспыхнувшее лицо, скороговоркой добавила: — Ты не бойся, я просто не понимаю...” — Лора..., — начал я и запнулся, это имя она запретила, — неужели нужно все понимать, всему дать имя? Неназванные чувства проживают свободнее... Названные обязаны уместиться в пять шесть букв. Ты об этом? О том, что я никогда не сказал, что я...” — Нет, — пепел ее сигареты упал на подушку, — вовсе не об этом. Мне хорошо с тобою, но я не

знаю, люблю ли я тебя. Видишь, я не боюсь этого слова. Иногда мне кажется, что ты толкаешь меня куда-то. То ли в машину, где меня свяжут и увезут, то ли к обрыву пропасти. Я боюсь тебя, Алекс. Не часто, но боюсь. Ты, может быть, хороший любовник, но плохой психолог. Ты не знаешь, что ты излучаешь...” Мы сидели в темноте. Лишь слабое пламя дрожало в камине. Фары дальней машины медленно пересекли комнату. Я взял ее руку. Она была вялой и холодной. Совсем недалеко раздался смех. Лора потянулась и зажгла лампу. — Займись камином, — попросила она, — я думаю, к нам гости.

Это была веселая, изрядно пьяная компания ее друзей. Они прикатили из Сэн-Валери и привезли с собою ужин. Кто-то тащил из машины корзину с провизией, кто-то открывал вино. Лора поставила старую пластинку с увертюрой Тристана. Они были чудные ребята. И Фредерик, и Пьер, и Соланж, и маленькая Валери. Толстяк Пьер, никогда в жизни не видел я худого Пьера, лежа в ногах у Лоры, хохотал так, что с балок сыпалась древесная труха и, не глядя, швырял в огонь косточки маслин. Соланж выспрашивала меня про русскую душу, а Фредерик и маленькая Валери исчезли в верхней спальне. Я слушал океан и не слушал Соланж. Мне хотелось выть. Опьянение первых месяцев с Лорой кончалось. Как когда-то в Москве, я чувствовал, что если не сделаю решительного шага, она опять исчезнет. В Москве был бред, психическая катастрофа. Что мог я при-

думать теперь, через годы? Соланж кончила мастерить самокрутку гашиша и пустила ее по кругу. Я встал и вышел. Тучи снесло и низкое небо было полно звезд. С трудом отыскал я Скорпиона и Стожары. Океан успокоился и лишь всхрипывал. Кто-то положил мне руки на плечи. В одной была самокрутка. Она была красавицей хоть куда, Соланж. Я повернулся. Это была Лора. Она шептала что-то и, впервые, мне послышалось — по-русски.

Начиная с апреля она стала исчезать. То это был обязательный уик-энд в горах, куда она не могла меня пригласить, куда ей самой не хотелось ехать, но это было важно для работы. То это был двухнедельный показ мод на Реуньон и, конечно, ни в одном журнале я не нашел и строчки об удивительном шоу для скучающих миллионеров. Потом грянули Филиппины, откуда она вернулась бледная, без намека на загар и, наконец, Лос-Анжелес, из которого она звонила три раза и умоляла не волноваться: она задерживается.

Само собою, я сходил с ума. Сидя в пустом ресторане, после закрытия, я пил скотч и засвечивал пленку своего воображения. Я знал, что, не дрогнув, могу убить ее. Я не знал, что я буду делать после. В том, что она принадлежала мне, в своем праве на нее — я никогда не сомневался. Быть может, моя ошибка была в том, что я дал ей заиграться, что моя деликатная терапия не пошла ей впрок. Бывало, я просиживал за стойкой до утра и, вдогонку выпив кофе

с коньяком на Контрескарп, тащился к себе домой. Волосы мои и одежда пахли табаком, в ресторане было вечно сизо от дыма. Раньше, возвращаясь, я мылся. Теперь же я просто валился на кровать и, если Бог был щедр, засыпал.

Самое удивительное, что когда она возвращалась, я не чувствовал и тени измены. Наоборот, она была любвеобильна и даже как-то иначе: в ней была другая температура страсти, другой градус. Я ничего не понимал. Мы засыпали обнявшись, но, что гораздо важнее — так и просыпались. Но конец близился и, будь я умнее, я был бы рад скорой развязке.

Летом моя параноидная идея, что она работает на брата, вернулась с треском бумеранга. Она любила меня, любила больше прежнего, несмотря на все ее странные заявления. Но она исчезала. Кто-то выстригал из моей жизни день за днем, неделю за неделей. Кровавые стыки однажды перестали сходиться. Бытие мое разлохматилось, потеряло горизонтальность и направленность. Я не мог больше выносить эти шуршащие, собственного лязга боящиеся ножницы. Занавес моей жизни кромсали они; начав с маленькой, для подглядывания дырочки, гуляли теперь по черному бархату вдоль и поперек.

Ребенку было ясно, что исчезновения ее не были связаны с работой. В конце концов, были неоспоримые детали. Когда это действительно была ее работа, в доме появлялись новые сапожки, юбки, грелки, шали — вся сказочная экипировка дуры-зо-

лушки. Несколько раз она заикнулась о том, что весь багаж теперь отправляет фирма. Но самое серьезное случилось перед ее выступлением в Лондоне. Ни за что на свете, я не опустил бы до того, чтобы рыться в ее бумагах. Она сама виновата. Укатив в Руаси, она забыла на столе паспорт. Я никогда не видел ее документов. Паспорт был на имя Инес Гюмо. Фотография была Лоры, той Лоры, которая вбежала под дуло объектива с русского мороза — раскрасневшаяся, снегом дышащая... По паспорту получалось, что она на три года моложе. Что ж, она всегда выглядела моложе своих лет. Я сидел, рассматривая эту подделку, когда раздался звонок — она вернулась за паспортом и даже не входила. Я протянул ей паспорт через порог и сказал по-русски: — Сделано высший класс. Поздравь при случае брата...” Она покрутила пальцем у виска и исчезла.

То, что ей приходится рисковать, быть может перевозить нелегально какие-нибудь бумаги или фотопленки, выводило меня из себя, но, с другой стороны, заставляло меня любить ее все сильнее. Да, да! любить! Я сдался этому слову. Если бы я мог хоть однажды поговорить с нею начистоту, сорвать с нее эту идиотскую маску, вымолить у нее минуту доверия... Если бы... Что дальше — я не знал. Может быть, я заставил бы ее измениться. Не может же она заниматься этим всю свою жизнь. Фатальный риск покинувших организацию хорошо известен, но я что-нибудь придумал бы. Мы убежали бы куда-нибудь, где

их нет. Я понимал, что они присутствуют повсюду, но все же до сих пор можно найти географическую складку, впадину, остров или горный хребет, где их зудение не столь назойливо. Или — наоборот — скандал. Гласность лучшее оружие. Но тогда, Боже, я просто начинал сходить с ума, ее замучают допросами, заставят кровоточить ее память, и, что вполне вероятно, могут одарить ее несколькими годами заточения. Я ведь не знал степени ее вовлеченности.

Посоветоваться было не с кем. Разговора с одним бывшим москвичом, специалистом по ржавому железному занавесу, не получилось. Я знал, что он работает чем-то вроде консультанта у хозяев piscine, здешней контрразведки, но разговор в эту сторону подтолкнуть не удалось, а сам я толком не мог объяснить, в чем дело. Я все еще боялся выдать Лору.

Все произошло само собой. Я выследил ее. Она гуляла самым пошлым образом под ручку с толстым типом, явно из посольства. Это был парк Монсо, советская канцелярия находилась в двух шагах. Даже через шесть лет после отъезда я не мог не узнать ни этих партийных брюк, ни этой привычки не двигаться, а разгуливать в разнузданном параличе. Шея выдала его с головой. Дурная шутка: его голову. Я помнил прекрасно эти вечно напряженные красные шеи служителей культа. Решение созрело в одну секунду. Я ел мороженое полуотвернувшись от них. Веселый колыт, купленный у ресторанного певца за сущую чепуху, рыбкой лежал в моей руке. Мо-

роженое таяло. Я помню, как черносмородиновая капля запятнала мои брюки. Я должен был взять это на себя. Я должен был разорвать ее путы. Народу вокруг было много. Как раз то, что надо. Играли дети, судачили дамы, одиноко, положив подбородок на трость, сидел старик. Я подошел сзади. Пахнуло ее духами и на миг у меня все поплыло перед глазами. — Лора., — тихо позвал я и, как я и ожидал, первым повернулся он. Я держал кольт, как меня учили под Тамбовом: прижав к бедру и закрыв телом, так что выбить его не было возможности. Трех пуль ему не хватило. Я был щедр в тот день. Он получил весь магазин. Он лежал на садовой дорожке и песок удивительно быстро впитывал кровь. Я смотрел на него и улыбался. Такие носки нельзя найти нигде в мире, кроме ГУМа. Меня держали за руку, я доедал мороженое. Лора сидела на корточках над трупом и ее лицо, повернутое ко мне, было в ужасе. Она еще не знала, что была свободна. Я спас ее.

— Социалисты отменили смертную казнь, — вот первое, что мне сообщил дурак-адвокат. По его идее я должен был радоваться. Я потребовал свидания с офицером ДСТ. Адвокат не удивился и на следующий день передо мною сидел приятного вида молодой человек, который мог бы все же немного лучше изъясняться по-русски. Я, должно быть, волновался и моя история в первый день выходила путанно. Полностью и разборчиво мы записали ее на четвертый день и господин Жером, фамилии, конечно, не было, уехал. Я стал ждать.

То, что французы решили не предавать гласности действительную подоплеку дела, стало ясно еще на предварительном следствии. Что ж, я им не судья. Быть может, мой выстрел (мои выстрелы) выбил из звена агентуры человека, о котором они предпочитали молчать. Быть может, им было невыгодно поднимать политический скандал. Лора не была арестована. Ей разрешили видеться со мною. Я молчал. Я слишком устал, чтобы говорить и объяснять. Она сказала, что после суда уедет в Америку, что не может оставаться в Париже. — В Америку? — думал я... О, я знал, где эта Америка...

Спектакль суда был проигран по идеальному сценарию. Ни одному намеку на действительные события не удалось проскочить наружу. Прессы почти не было. Я получил пятнадцать лет. Мотив убийства — ревность. Жертва — пожилой коммерсант из Венгрии. — Ревность — да! — хотелось крикнуть мне, но ревность к кому? 5475 дней — подсчитал я еще в зале суда. Что ж, время есть воспользоваться советом Мак Коитайнера и накатать книгу. Я начал с московского подполья, но потом все бросил. Занимал меня только один вопрос: сообщаемость будущего с настоящим. Однонаправленность жизненных событий казалась мне странной. Я был всегда уверен, что так же, как прошлое присутствует в настоящем, присутствует в нем и будущее. Мой поступок безусловно существовал в будущем, так же как и последовавшее за ним, глупое по сути, наказание. Сцена в пар-

ке Монсо проросла из будущего, дала трещину в настоящем и увяла в бумагах судебной канцелярии. Я начал писать эссе об обратной проводимости времени.

В октябре 83 года, ровно через 24 месяца после фатального для меня дня, я закончил труд. Бойкая девица из издательства "Колесо времени" приехала за манускриптом. У нее была тьма вопросов. Я молча улыбался. Я давно потерял интерес к внешним раздражителям. Мы выкурили по сигарете и она ушла. Пьер, толстяк, конечно, милейший парень охранник, принес мой ужин. Я его съел. Ночью, впервые за два года, я не спал. Я не знал, с чего начинать утро.

Несколько вопросов иногда мучают меня. Знал ли я, что ты вовсе не Лора? Конечно, милая, знал. Ты была Инес Гюмо и то был твой паспорт. Был ли я в состоянии психически ненормальном, навязывая тебе чужое прошлое, разговаривая с тобою по-русски, называя тебя не твоим именем и ожидая от тебя того, что ты не могла дать? Не знаю. Я вообще не верю в существование психических или иных норм. Неужели есть нечто, сдвиг от чего влево или вправо, вверх или вниз является сумасшествием? Зачем я это сделал? Любил ли я тебя? Зачем. Мне было теперь не совсем ясно. Просто в парке Монсо на садовой дорожке скрестились лучи трех судеб и вспыхнуло пламя. Любить? Ужасное все же слово. Да, любил. Была ли ты похожа на настоящую Лору? Не знаю. Я не знаю, была ли настоящая Лора...

Бодлер, стр. 31.

Старик-Асинью умер, войдя в стеклянную стену. Ветер из пустыни дул вторую неделю, и теперь Даниэль носил очки. Про контактные линзы лучше было забыть. Джой сломала малую берцовую кость, но не знала об этом. Иза большую часть времени проводила у себя наверху. Считалось, что она дописывает книгу. Но все знали, что она пьет и валяется голая в постели. Время от времени она звонила, и младший брат Асинью, Мамаду, в нитяных перчатках и с салфеткой, перекинутой через руку, поднимался по лестнице. Голова его была стыдливо опущена. И зря. В этом доме никто никого ни в чем не винил. Валентин продолжал бегать берегом океана, но теперь вместо пяти миль от силы пробегал полторы.

Старик-Асинью, черный слуга, ни слова не говоривший по-французски, рано утром, когда все спа-

ли, вошел своей мягкой походкой в закрытую стеклянную дверь, отделяющую салон от паттио. Никто никогда не знал, отодвинута ли дверь. И в это утро между ним и слепящей водой бассейна, начинавшегося прямо от третьей ступеньки паттио, не было ни малейшего замутнения воздуха, ни блика, ни штриха. Даниэль уже год твердил, что нужно наклеить на стекло хотя бы небольшую красную полосу. — На уровне глаз... — добавлял он и все улыбались. Глаза в этом доме у всех были на удивительно разном уровне. Иза однажды отправилась наверх искать ленту цветного скотча, да так в тот день и не вернулась. Полицейский офицер, примчавшийся на разбитом пежо, но с включенной сиреной, часа через два после звонка, осмотрел раму с уцелевшим осколком и сказал, что стекло, видимо, треснуло давно и лишь поджидало удара посильнее. Если бы Асинью не нес тяжелый поднос, нагруженный посудой — Джой и Валентин трапезничали после ночного купания — он успел бы отпрыгнуть от падающей стеклянной гильотины. По крайней мере отделался бы порезами. Но чувство долга не позволило ему выпустить из рук поднос, полный хозяйской посуды. Полтора-сантиметровый толщины пласт стекла, падая с высоты в три метра, чисто срезал его маленькое ухо, раскромсал шею и плечо, и перебил сонную артерию. Шума никто не слышал. Под утро в доме спали крепче всего. Городские барабаны умолкали лишь часов в пять, вместе с пением муэдзинов. Ровно, как всегда, гудели кондиционеры, и на столике

возле кровати Изы, в стакане недопитого скотча плавала жирная, неизвестно как в спальню попавшая, ванесса.

Даниэль был хозяином виллы. Авиакомпания уже пятый год держала его на Западном Берегу. Африка ему осточертела. Осточертела ему и жена. Но было не то поздно делать серьезные шаги, не то слишком рано. Даниэль никогда не мог забыть, что вся его карьера была построена на знакомствах Изы. Три недели назад ему исполнилось пятьдесят. Валентин прилетел из Парижа за час до того, как народ стал расходиться с юбилейной пирушки. На его бледное лицо оборачивались. Ошалевший от перелета, он бродил среди обнаженных спин и белых клубных пиджаков и пьянел, пьянел от цвета ночного неба, от сада, от влажных настойчивых запахов. В Париже третий месяц лил дождь.

Иза выпустила свою первую книгу, когда ей было семнадцать. Это была смесь еще не загустевшего цинизма и подкупающей наивности. Она была молода, красива, из старинной знатной семьи. Левая пресса хвалила ее за классовый бунт, правая — за бесконечные описания жизни в родовом замке. Все прочили ей великое будущее. Ее первый муж, репортер ТВ, погиб во Вьетнаме, но не на линии фронта, а в пьяной драке в ночном притоне. Нож, вошедший ему между лопаток, был сделан в Китае. Лишь однажды Иза воспользовалась им, разрезав несколько страниц цитатника председателя Мао. Молодая вдова оплакивала мужа не в одиночестве. Изрядная

часть женского населения Парижа заливалась слезами. Второй муж — Даниэль — выхаживал ее с полгода. В итоге они поженились. Десять лет промелькнули, как фильм: пока сидишь в зале, все кажется грандиозным, гениальным, но, выйдя на улицу, не помнишь ничего. После нескольких месяцев африканской жизни Иза пришла к выводу, что муж ее переметнулся на мальчиков. По крайней мере он заходил теперь в ее спальню только тогда, когда ему нужен был аспирин. Или же, когда нужно было повязать ему шелковый бант бабочки. В последнее время он носил шарфы и Иза гадала, нарочно ли он нарушает протокол — в поле зрения всегда было больше послов, чем простых смертных — или же это его увертка, нежелание стоять выгнув шею и задрав голову, в ожидании конца удушающей процедуры. Иза завязывала галстук-бабочку замечательно, но очень медленно. Была она на семь лет старше мужа.

Джой преподавала в местном университете по контракту, срок которого истекал через год. Вся белая колония давным-давно переспала друг с другом во всех возможных вариантах. Джой никогда до Африки не была счастлива с мужчинами. Ее первый любовник, на двадцать седьмом году ее жизни, сделал из нее женщину. С тех пор она не могла остановиться. Ее холодное европейское прошлое было размыто и расфокусировано. Она жила теперь в одном нескончаемом обмороке взглядов, намеков, касаний, провалов. В тот день, когда она познакомилась

с Валентином, она спала утром со своим студентом и, во время сиесты, с чехом из посольства. Чех был ее теннисным партнером и последний сэт обычно переносился в его спальню. На парти она заприметила трогательного девятнадцатилетнего щенка, сына то ли норвежского, то ли шведского дипломата. Танцуя с ним, чувствуя как дрожит его рука на ее голой спине, она спросила, не хочет ли он выпить с нею в казино? Он побледнел сквозь загар и ушел просить у отца ключи от машины. При казино был знаменитый отель с широкими низкими кроватями, решетками на окнах и громадными вентиляторами. Молодой человек вернулся, играя ключами и испуганно улыбаясь. В это время появился Валентин. Он был вызывающе мрачен, словно Персефона послала его с умирающего континента в Африку по делам смерти. Джой была сильна в мифологии и под любую банальность подводила коринфские колонны. Ее американское имя произошло от любви ее матери к калифорнийским пляжам.

Валентин обычно отказывался рассказывать о своем прошлом. Да и себе он не позволял вспоминать о бывшем, скажем, до 63-го года. — Я родился в 25 лет, — объяснял он, — в пятом округе Парижа. О моих родителях было известно лишь то, что они были счастливы.” Какое-то время он бедствовал и люди, знавшие его в этот период, говорили, что это был тяжело пьющий человек, полный безумных идей. Его побаивались. Кто-то видел, как он поджег в кафе платье своей спутницы. Кто-то рассказывал,

что Валентин прыгнул с Нового Моста в проплывающую баржу. Баржа была гружена песком. Валентин верил в судьбу, и, в благодарность, судьбою ему был послан однажды молодой японский предприниматель. Они просидели в кафе "Маленький Швейцарец" напротив каштанов Люксембургского Сада до заката. Японец дважды звонил в Токио. Гарсон получил изрядные чаевые, а Валентин чек на 25 тысяч. Это был аванс. Контракт был подписан через несколько дней. Валентин был машиной идей. Они появлялись из ниоткуда, всегда конкретно сформулированные, и, если их не пристроить в жизни, исчезали опять же в никуда. В пьяные минуты Валентин воображал внесемной мир, как огромный, звездами пропыленный, склад идей. — Где-то внутри меня, — уверял он, — есть дыра, дефект рождения быть может... Через нее и натекает информация." Валентину — и Кен это мгновенно понял — не хватало технического образования, чтобы получить хотя бы один патент. В "Маленьком Швейцарце" был продан проект обыкновенного плана метро. Валентин предлагал его делать из толстого пластика, каждую линию метрополитена в виде капиллярного канала. В конце линии, там, где стояло название направления, должен был быть небольшой пузырь. — Волдырь, — пояснил Валентин, — как после часа гребли среди девушек в цвету по речушке Моне..." Эту фразу японец пропустил. Кен вообще должен был фильтровать эмоционально перегруженную речь Валентина. Пузырь на плане заполнялся спиртовой краской.

Стоило приложить палец — краска разогревалась и бежала вдоль линии. В мире было множество метрополитенов. Кен решил взять патент. Валентин был в деле. Деньги перестали быть проблемой.

— I have a crash on him, — лежа лицом к стене, сказала Джой чеху на следующий день. Чех почти не говорил по-французски. Он курил, рассматривая ее худую спину. Джой была маленькой блондинкой.

Ближе к вечеру Джой позвонила на виллу, поблагодарить за вечеринку. Даниэль пригласил ее выпить после ужина. Ночные попойки в саду при свечах или при полной бесплатной луне были в ходу. Впервые за долгое время Джой задумалась, что надеть. Валентин не заметил ее стараний. В пять утра на пляже песок был еще теплым, а ветер из пустыни — упругим. Валентин не нашел на Джой ни полосочки, ни пятнышка незагорелой кожи. Африка сделала ее черной.

Старик-Асинью вошел в стекло, потому что хотел взять стакан, забытый на ступеньке бассейна. Кровь окрасила край белого тунисского ковра, натекла в бассейн. Даниэль приказал сменить воду. Мамаду, вместе с поваром, вытащили ковер в сад. Они пытались отмыть еще свежее пятно, но это был пустой номер. — У твоего брата слишком красная кровь, сказал повар на волоф, и Даниэль понял. Он листал каталог красителей, когда Валентин спустился к завтраку. В честь старикана ковер обречен был быть до конца дней бордового цвета. Завтрак был накрыт на боковой террасе. На солнце, в просветах

буганвили, сидели ящерицы. Намазывая джем на горячий хлеб, Валентин поднял голову — тяжелый военный боинг заходил на посадку; брюхо его было размалевано местным кандинским под камуфляж. Вдали рябил океан. На верхушке катальпы сидела хохластая птица с изумрудной грудью и длинным хвостом. Даниэль в очках выглядел старым. Рука его, протянувшаяся за молочником, дрожала. Понеслись не ко времени дня меланхолические аккорды кельнского концерта Жаретта. Значит, Иза встала. — Будет истерика, — пообещал Даниэль.

Они были дружны какое-то время в Париже. Даниэль был завсегдатаем ночного клуба, одного из тех, куда женщина может попасть лишь по ошибке. Да и то переодевшись. Годы женитьбы кое-как волочились по ухабам. Он был урнингом, в классическом смысле, и, если бы в Изе было бы хоть немного мужественности, упругости, прямоты, кто знает, они протянули бы еще несколько расплывчато-счастливых лет. Но она была как перезревший плод папайи. Ее мягкость, податливость, текучесть — бе-сили его. То, что она принимала за сочувствие в самом начале их отношений, было действительно сочувствием, больше того — скорбью, но не по отношению к ней, а к самому себе. Незадолго до их первой встречи известный профессор, любивший резкость обхождения, пообещал Даниэлю скорую отправку в лучший мир. Набор слов, которыми он оперировал, напомнил Даниэлю приемы клерков из

транспортных агентств. Короче, что-то происходило с кровью и профессор, показывая отличный седой ежик, выписал ему крупными буквами транзитный билет. Первый раз в жизни Даниэль держал в руках билет "туда". Насчет "обратно"... , складывая чек вдвое, профессор развел руками. Поэтому в Изе Даниэля привлек именно траур. Она при жизни, ничего не зная, оплакивала его. Не слишком усердно, но достаточно драматично. К тому же, ей шел черный цвет. Но через несколько месяцев головокружение, тошнота и странные оптические эффекты, которыми его снабжала щедрая на авансы смерть, исчезли. Тот же профессор опять разводил руками, опять складывая вдвое чек. Теперь Иза носила все светлое и слишком часто улыбалась. Она была умна, но ее чувственность делала ее абсолютной душой. Даниэль не охладел, просто ему не нужна была больше чужая вдова, профессиональная сиделка. До нее это дошло с опозданием. И тогда ее начала раздражать его ухоженность, не чистота, а стерильность, не просто хороший вкус, а жеманность. Он отпустил бороду, она смотрелась как наклеенная. Его тело стало приобретать странную пухлость, обтекаемость. Он записался в спортивный клуб, несколько раз побывал в сауне и на этом все кончилось. Назначение в Африку казалось ему выходом из положения, по крайней мере географическим. Но вышло наоборот. Работа была до смешного незначимой. Платили за ссылку. У него была вилла, шофер, власть. Белая колония была небольшой и жизнь шла на виду. Чер-

ные ловили рыбу и танцевали. Или изучали медицину и танцевали. Белые пили. Даниэль пристрастился к траве. Кокаин тоже был дешев. Его любовник, молчаливый, слишком молодой египтянин, присылал иногда вместо себя черных дружков. У них всегда были проблемы с деньгами. Даниэль, в секрете от Изы, снимал на пару с приятелем-дипломатом трехкомнатную квартиру в деловой части города. Довиллы было пятнадцать минут езды берегом океана.

Валентин познакомился с Даниэлем в Париже, в клубе, куда он завалился с подкуренной, шляпу роняющей, известной старлеткой. Хозяин, выставив руки, словно он собирался обнять загулявшую парочку, бубнил что-то про правила клуба, двое худых мрачных парней выглядывали из-за его жирной спины и все кончилось бы дракой, если бы в последний момент не появился невысокий человек с большими, навсегда удивленными, глазами. Он что-то сказал на ухо хозяину и их пропустили. Не в клуб, а к стойке бара у входа. Невысокий заступник, сгучавший до этого в полутьме над третьим стаканом скотча, и был Даниэль. Ночь кончилась в дуплексе актрисы за игрою в шахматы. Даниэль выиграл. Актриса спала в кресле, вытянув ноги, свесив руки. Шляпа, закрывавшая ей лицо, немного глушила ее юный храп.

Иза вообще не реагировала на новость. Ее волосы были туго повязаны косынкой. Она высыпала на стол целую пригоршню разноцветных пилюль.

— Завтрак космонавта, — комментировал Даниэль. Бассейн, наконец, был пуст и Мамаду мыл его из шланга. — Во сколько обещал быть Алекс? — спросила Иза. Алекс был другом ее первого мужа, миллионером, страстным коллекционером живописи. Он жил на острове, напротив города, на расстоянии одной гаванны. — Ты заметил, — спросил Даниэль Валентина, что люди с деньгами все чаще селятся на островах? У Алекса по крайней мере пять вилл в разных концах мира... Он обещал быть к аперитиву... Знаешь, почему на островах? — Даниэль снял очки и почесал переносицу. — На маленькие острова не падают большие бомбы...” Иза смотрела на мужа, холодно улыбаясь. Невозможно было сказать из чего состояла ее улыбка. Но и сочувствие, и презрение входили в компоненты. Мамаду бросил шланг и шептался с поваром. Даниэль, уронив салфетку, поднялся и подошел к ним. Валентин увидел, что черные тоже могут бледнеть. — Слушай, — Даниэль вернулся и, подняв салфетку, швырнул ее на плетеное кресло, — они просят разрешение положить Асинью в большой морозильник... Черт-те что... Говорят, что родственники смогут добраться до города лишь завтра к вечеру или послезавтра утром. Мне все равно. Мамаду уверяет, что места хватит и продукты не придется размораживать...” Иза подняла вытаращенные глаза, Валентин отвернулся, внимательно разглядывая отвесно по стене поднимающуюся ящерицу. Она была отвратительно серого, землянистого цвета.

Джой опоздала. Полчаса ушло на то, чтобы отделаться от чеха. Он ничего не видел особенного в том, чтобы уложить ее в постель перед свиданием с Валентином. Он был прав, раньше так и было. Она выставила его. Десять минут ушло на то, чтобы набить ледник выпивкой и едой, погрузить в машину; еще десять, чтобы домчаться до виллы. У нее был старый военный джип, который она лихо развернула в тупике перед виллой. Джип был списан из американского посольства, первый секретарь в свое время помог ей с покупкой, один из тех рыжих чудачков, которые не могут загореть даже в Африке. Подходя к воротам, она вспомнила, что забыла купальник, и в этот момент бампер джипа сильно ударил ее чуть выше лодыжки — машина не стояла на тормозе. Не шопотом, а шипением выругавшись, она прохромала назад и с треском оттянула рычаг тормоза. — Первая травма, — хотела сказать она Валентину, имея в виду свое разбитое сердце, но ворота открыл слуга, сообщивший ей о несчастном случае. Джой была суеверна и боялась не только просыпанной соли, разбитых зеркал, гадания по руке, девятки пик рядом с девяткой бубен, наговоров, сглаза, марабу, гри-гри, танцев экзорцизма, но и любых скверных новостей. Словно она была счастлива незаконно и ожидала подлостей из внешнего мира. Валентин лежал в шезлонге, читал европейские газеты. Загар его был какого-то невероятного цыганского тона. — Что с ногой? — спросил он. — Попала под колесо Фортуны, — улыбнулась она. — Нет, се-

рзбно? — Валентин подозвал слугу. — Выпьешь что-нибудь?..” Они уже садились в машину, когда вышла Иза. Она принесла две бутылки мускаде и купальную простыню для Валентина. — Ужин в холодильнике, — сказала она, — не спешите возвращаться.” И посмотрела на Джой с любовью.

Сторож сидел на корточках в тени пальмы. Лук и короткие стрелы лежали на соломенной подстилке. Как всегда на небе не было ни облачка. Грязная собака стояла разглядывая мертвую змею.

На выезде из города она свернула к аэродрому, проскочила, несмотря на запрещающий знак, узкой, колючей проволокой отгороженной дорогой и остановилась на обрыве. Чья-то яхта делала ленивый поворот. Чье-то радио играло рэгги. Гора ржавых консервных банок была свалена у последней рогатки заслона. Джой посмотрела на часы и почти в тот же момент, еще не обросший звуком, весь размытый тепловыми волнами, словно они смотрели на него сквозь видоискатель телеобъектива, в дали показался самолет. Его клюв качался на разбеге, потом выровнился, грянул гром и прямо над ними, так низко, что можно было попасть камнем в брюхо, ушел в небо Конкорд. Валентин открыл холодную, под штопором скользящую бутылку. Они отпили по глотку, потом друг от друга, потом опять — холодной, смородиной отдающей влаги, и джип резко взял с места, оставляя за собой шлейф розовой пыли.

Дорога на юг спотыкалась об одноэтажные поселки. На обочине мальчишки торговали кокосовыми орехами, у автобусных остановок роились импровизированные базары, все было раскрашено лубочно розовым, голубым, ярко-желтым. Рейсовый автобус, набитый до предела, тяжело переваливаясь обогнал их. Он был разрисован пальмами, облаками морской воды, гигантскими бабочками и ампутированными руками над тыквами барабанов. "Счастливого пути" — было написано над задней дверью. "И веселого также дня" — ниже. Через час, проскочив на вылет приземистый колониальный городишко, где дома, по старинке, далеко отстояли друг от друга, а деревья с огромными кронами, легко закрывали раскаленное небо, они свернули на пустынную дорогу, кое-где отороченную пыльным кустарником. Редкие голые баобабы лениво тащились обочиной, земля была розового, временами почти красного цвета. Дорога уперлась в озеро, в недостроенный причал, возле которого паслись диковатые мальчишки. Заросший грязными волосами, в рубахе до колен, белый толстяк ловил что-то на отмели. Валентин выбрал пацана поздоровее, подозвал его пальцем и дал монету. — Ты! сказал он. Даже в таком пустынном месте целые толпы набивались сторожить машину. Лучше уж было выбрать сразу. Они наняли моторную пирогу. Джой, сморщившись от боли, прыгнула на сидение. Взвыл, чихнул и опять взвыл мотор. Впервые за много дней стало свежее. Озерцо переходило в озерцо, скрипел высокий трос-

тник, вода по запаху была пресно-сладкой. На повороте в пятое или, Бог его знает, шестое озерцо, лодочник выключил мотор и крепко прижал пирогу к зарослям тростника. Под прикрытием этой зеленой стены они мягко выскочили на широкий поворот и Валентин сжал маленькую руку, лежавшую у него на коленях. Озеро, от края до края, было забито розовыми фламинго. — Будете фотографировать? — тихо спросил лодочник. — Нет, — Джой первая его поняла. — Vas-y!” И тогда, врубая мотор, привстав на мускулистых расставленных ногах, лодочник закричал, заулюкал и сотни огромных птиц поднялись в жаркое небо, хлопая огромными крыльями, странно таща длинные неподжимаемые ноги, заворачивая на общий, к другому озеру, поворот. Какое-то время небо было закрыто этой горячей пургой, потом все в миг стихло и лишь какие-то коротконосые попрошайки составляли их эскорт.

Солнце пекло немилосердно. Джип бежал легко, как матерый зверь, позвоночник антенны дрожал и раскачивался, но местные станции передавали однообразную тряскую чушь, а дальние были опутаны назойливым треском. Иногда дорогу перебежали стайки некрупных обезьян. Одна из них — они остановились, разглядывая карту с невероятными местными названиями — вспрыгнула на капот джипа. Валентин протянул руку, но вовремя отдернул: маленькая оскаленная тварь пыталась полоснуть его когтями. Среди редких мирных деревушек и пустынной природы, несколько километров в сторону

на восток, они обнаружили раскаленный паркинг мерседесов и вольво, шумный ресторан в тени огромных хижин. Мухи делали воздух черным и, открыв бутылку кока-колы, нужно было тут же ее закрывать подставкой от стакана, иначе летучие твари с остервенением моментально забирались вовнутрь. Ровно гудели со всех сторон вращающиеся вентиляторы. Подавальщицы, точеной красоты, но мрачного нрава девицы, сновали быстро и бесшумно. Их босые ноги были лилового цвета. Им принесли свежего, только что с углей, лобстера, горячие лепешки и суп из шафрана. На Джой смотрели со всех сторон, она это знала и привычно впитывала. В основном раздавалась немецкая, реже английская речь. Валентина разморило после еды. — Я человек северный, — жалко улыбался он. Хозяин проводил их к дальнему бунгалу. Три сухо шуршащих пальмы скрещивались над ним. Бунгало было полосатым внутри, полосатым во всех направлениях — просветы между прутьями пропускали приглушенный свет и воздух. Джой включила вентилятор и рухнула на кровать. Ее кофточка прилипла к спине. Помогая ей, Валентин прижался губами к ее горячей шее. В голове у него стоял шум, перед глазами мелькали огненные иглы. Они мгновенно заснули, но тут же проснулись. Желание разбудило их одновременно. Все произошло медленно, и от этого напряжение было выше и чище. Потом был настоящий сон, провал, счастливое отсутствие. Где-то рядом был вольер и дети дразнили животных. Странно было проснуться

в Африке, в густых влажных запахах, под гортанную истерику горбоносой птицы и германскую речь. Они выпили пива и расплатились. На подножке джипа сидело создание лет пяти. Мухи облепили круглое личико. Не спуская глаз с протянутой монеты, высунув язык вбок, дите слизнуло муху и отправило ее за щеку. Судя по всему, это была игра, и мухе было позволено ползать, щекоча гортань и губы.

Конечно, она знала этот пляж. На берегу было единственное дерево и в его сомнительной тени был оставлен джип. Они вытащили ледник, Валентин настроил радио. Над дюнами белого песка, над зелеными волнами океана грянул какой-то ушлый мотивчик. Валентин покрутил регулятор, нащупал заключительную фразу адажио Альбиони и выключил. Джой расстелила у самой воды полотенце, принесла очки и масло. Рыжий американец в свое время научил ее бросать фрисби. Сам он был мастер невероятных трюков вращающегося диска. В ответ она научила его совсем другой науке и, каждый раз доставая потертый диск, она вспоминала обмен уроками и нечто вроде ухмылки всплывало на ее лице. — Ты умеешь? — крикнула она и, ярко-красный, сильно вращающийся диск проскочил мимо Валентина, поднялся на воздушной волне и бумерангом вернулся к Джой. Валентин выложил содержимое единственного кармана шортов на сидение джипа и взял фрисби. Он попытался покрутить его на указательном пальце, не получалось, тогда он сильно бросил диск

в сторону дюн, но ветер, единственный профессионал в этой игре, подхватил фрисби и отнес в волны. — Эй! Осторожно крикнула Джой, но Валентин уже несся вскачь в ледяных волнах. В какой-то момент он потерял равновесие, схватил фрисби, повернулся и тут же был сбит с ног. Волна протащила его несколько метров, подняла и откачулась. Он поплыл на месте, не в силах сдвинуться и на йоту. На миг его свело страхом. Три огромных волны, одна за другой, накрыли его и ушли к берегу. Лопалась пена как миллионы слепых глаз. Наконец он сообразил и, выждав, вместе с летящей к берегу волной бешено заработал руками и ногами. Волна дотащила его до берега, стал слышен шум ползущей гальки, перетираемых камней, и тут же попыталась втянуть обратно. Но он успел подняться, упал в безопасном месте. Фрисби, засунутое под шорты, мешало ему. Джой подбежала, высоко вскидывая ноги, склонилась над ним, опустила на колени. Глаза ее были испуганы, рот жалобно открыт. — Это моя вина, — здесь тонут профессионалы... Он притянул ее к себе. — Течения, — продолжала она, уткнувшись ему в ухо, — течения вытаскивают их мили на три. И акулы...” Сквозь окаты холодных волн ее тело было горячим, напитанным солнцем. Он тяжело дышал, голова кружилась легко, и он думал, как в детстве, что лежит, прилепившись спиной к поверхности огромного шара и не падает вниз в небо, не падает до тех пор, пока в нем живет жизнь. Это была любимая игра его детского воображения представ-

лять себе жизнь вверх ногами, хождение как по потолку, по исподу планеты. Здесь — это была граница воды и песка, там, в детстве — испод зарос папоротниками и искореженным железом. Умершие мгновенно размагничивались и падали вниз головою туда, где за мягкими облаками сиял черный космос. Огромный шар их больше не притягивал. Но еще сорок дней, говорила покойная бабка крестясь, земля притягивает умершего, не дает ему достаточно далеко провалиться. Провалившись, человек теряет земную память и вспоминает то, что было забыто при рождении.

Он прошел берегом с полмили. Что-то вроде деревушки обозначилось за песками. Мелкие рачки убежали при его приближении в воду. Бутылка изпод виски, наверняка выброшенная с корабля, валялась рядом с полусгнившим парусиновым ботинком. Валентин подобрал розовую, как вывернутая губа, раковину и, присев на корточки, вырыл небольшую ямку. Когда-то, лет тридцать назад, он рыл такие же неглубокие ямки в холодном рыжем песке на большом бульваре. По бульвару прогуливались военные с дамами, на качелях вопили малолетки, над городом шумно летали самолеты, и он укладывал на дно ямки несколько блестящих шариков, осколок зеркала, сломанные маникюрные ножницы, военную пузатую пуговицу. Все это закрывалось куском стекла, так, что содержимое мгновенно преображалось под этой витриной, обретая странный

смысл и засыпалось землю. Некоторые дети прятали под стекло фантики, майских жуков, настоящие часы или деньги. У сына высокой, похожей на парусник в своих вечно развевающихся одеждах, дамы под стеклом была фотография смеющегося, по-спортивному стриженного, человека. Никто, кроме ближайших друзей, не должен был знать расположения "секретика". Теперь, закапывая раковину в африканский песок, Валентин думал, что игра была продолжением недавно закончившейся войны, культом могилы, захоронения, тайны. Валентин часто думал о детстве, которое было для него не исчезнувшей эпохой, а недостижимой географией, местом, куда больше не пускают. Позже, присматриваясь к детям иных поколений, он никогда больше не видел этой игры. В Египте, спускаясь под конвоем подростков-гидов в гости к фараону, он чувствовал, как под ногами у него хрустит стекло бульварных захоронений.

Валентин покачался на одной ноге, утрамбовывая песок, и повернул обратно. Джой шла ему навстречу. Прихрамывая, улыбаясь, голая, как этот берег и это небо.

Они лежали на границе песка и воды. Ленивая волна смывала их горячий, с маслом смешанный, пот. Ее губы распухли, как невдалеке захороненная раковина. Они тянули, пили, вытягивали из него жизнь. Ее ноги сплелись у него за спиной, ее волосы смешались с песком. Он всегда хотел именно этого: быть с женщиной на пустом берегу под дневным

солнцем. Она часто дышала, голова ее, с перекошенным воспаленным ртом, откинулась. Ослепшие глаза помутнели и подурнели. Несколько раз она пыталась приподняться и посмотреть на него, но шея ее подламывалась. И она скулила и стонала, и какая-то большая птица делала над ними круги, отвлекая его внимание. Песок попал ему в глаз и его незагорелые ягодицы постепенно превращались в два огненных волдыря. Наконец Джой удалось приподнять голову, щелками сморщенных глаз она посмотрела на него и, замычав, рухнула назад. Ее рука рыла и рыла яму в песке, но накатывалась волна и все выравнивала. Тень от птицы прошла совсем низко и исчезла. Он скосил глаз, птица сидела на гребне дюны, метрах в пяти, закрыл глаза и сам не в силах больше сопротивляться происходящему — он был теперь, как граната с вырванной чекой — и тут же открыл опять: рядом с птицей, на половину в песке, лежала мертвая полуразложившаяся собака. Ее ноги, как ноги Джой, были вскинуты в небо, ее чрево, как чрево той, с которой он лежал, было раскрыто, и это была одна гноящаяся рана. Собачья пасть была оскалена и по короткой шерсти шли зеленые пятна. Выстрел в затылок произвел бы на Валентина меньший эффект. Он стиснул веки, но на горячей сетчатке не было ничего, кроме этих разведенных ног и гноящихся внутренностей.

Джой так никогда и не узнала, что произошло с ним. Она была слишком счастлива, чтобы серьезно отнестись к его неудаче. — *C'est rien...* — бубнила она,

— это солнце, слишком много солнца для тебя. Они, обнявшись, медленно брели назад, к джипу. Далеко, на исходе зрения, он заметил профиль военного корабля. С ее спины еще не сошел отпечаток мелкой гальки — оспы их любви.

На обратном пути машину вел он. У нее распухла нога. Он пришел в себя и произошедшее казалось ему невероятной чушью. Ну труп собаки, ну и что? Все мы будем гнить так или иначе, на солнце или под землей. Радио трещало, но теперь он с удовольствием слушал местные боевики. Джой спала, вытянув большую ногу. Ее короткие волосы развевались, открывая крупный детский лоб. Дорога иногда проскакивала через чистенькие деревушки, и он давил на клаксон, и медленные высокие женщины, кто со связкой хвороста, кто с тазом или картонным ящиком на голове, оборачивались, останавливались, разглядывая проезжающих и, лишь в последнюю секунду, уступали дорогу. Дети бежали за джипом. Мужчин не было видно. Зеленые мечети поворачивали за ними радары своих полумесяцев.

Поздно вечером они танцевали в дансинге для черных. Джой уверяла, что боль прошла, но не могла по-настоящему поставить ногу. Она крепко прижималась к нему, он был порядочно пьян. Из уцелевшего в памяти целлулоида осталось нечто вроде неразразившегося скандала, стакан виски, который он пронес под носом у вышибалы до джипа, и бетон-

ная река, по которой нечистоты стекали в море: Рио-Мерде, в местном обиходе. Какие-то люди брели под катальпами, где-то бешенно били барабаны, кто-то спал в теплой пыли. Потом проползла центральная улица с единственным открытым кафе. Все столики были заняты. Мальчишки клянчили деньги у загулявших моряков. Двое ливанцев ласково ссорились зверскими голосами, напирая друг на друга животами. На дороге, ведущей к вилле, полиция загоняла проституток в грузовик. Луна с надкусанным боком мелькала среди крупной листвы. Сторож спал и Валентин полез через ворота. Джой с трудом давила на акселератор; дальний свет выхватил из тьмы поворот к океану и оскаленную морду собаки. Дико горели зрачки. Джой наощупь нашла сигареты в сумке, но зажигалка куда-то завалилась. Утром была лекция.

Она вернулась на следующий день, ближе к вечеру. Нога ее была в гипсе, в руке она держала конверт с рентгеновским снимком. Малая берцовая была сломана и смещена. — Под хорошенькой же анестезией держал тебя твой кавалер, — ухмыльнулся Даниэль. Он был один. Иза еще не вернулась из японского посольства с урока икебаны. *Passé composé* заставило ее вздрогнуть. Даниэль гремел льдом. — Скажи, сколько? — спросил он. Протягивая руку за стаканом, она вопросительно взглянула на него. Он подождал пока она опустится в кресло, потрепал ее по волосам. — Улетел утром, — сказал он.

Джой рассматривала выложенные плитами дорожки сада. Ветер из пустыни сменился на ветер с океана и они были занесены сухими лепестками глицинии. Поверхность бассейна тоже была замусорена мертвым цветом. — Завтра будут чистить, — Даниэль читал ее мысли. — Один дьявол, никто больше не купается...'

Кен был доволен, их новый проект давал отличную прибыль. Это была одна из типичных выдумок Валентина: ТВ-приемник с двенадцатью мониторами. Располагались они буквой Г над и сбоку от обычного экрана и размером были чуть больше сигаретной пачки. Выбирая основную программу, можно было следить одновременно за происходящим на двенадцати других. Учитывая американскую привычку бесконечно переключать каналы, невротизм современного зрителя, желание урвать наилучшее, Валентин попал в точку. Кроме прочего, дети могли смотреть свои мини-программы или футбол. Звук автономно выводился на наушники. На один из экранов можно было подать изображение из внутренней домашней ТВ-сети, — лунное дрожание входной двери или лужайки перед домом. Американская фирма, купившая "знаю-как", приглашала Валентина на год. Деньги давали сказочные, но Валентин Нью-Йорк не любил, желтые страницы телефонных книг этого города перечисляли почти все с детства ему знакомые фамилии, любая окраинная продовольственная лавка, широкие улицы, красный кир-

пич и огромное небо — слишком напоминало другую жизнь, другой гигантский город, возвращение в который, даже в памяти, Валентин исключал.

Была осень, Сена уносила из города листья платанов и пустые бутылки, флаг над Самаритеном все еще был надежнее многих государственных флагов, Иза и Даниэль вернулись из своего комфортабельного изгнания и жили в наспех, но удачно купленном, свежей краской пахнувшем, особняке в 14-м округе. Иза, к удивлению всех ее знавших, а больше всего — Даниэля, выпускала книгу и, судя по слухам, это было кое-что. Она не пила, прекрасно выглядела, словно вернулась с войны и отоспалась. — Человек, — определял воскрешение Даниэль, — самовосстанавливающаяся структура. Стоит лишь на время приостановить саморазрушение, из которого обычно состоит наша жизнь, и пожалуйста: взгляните на эту лань!” Сам он, по закону все еще сообщавшихся сосудов, сдавал. Было ясно видно, что то, откуда недавно вынырнула Иза, поглощало и захлестывало его. Они часто устраивали обеды и Валентин с удовольствием у них бывал. Гости, подобранные Изой, были всегда интересны. Уроки икебаны пошли ей впрок.

Два раза в неделю Валентин бывал теперь у психоаналитика. Если бы ему сказали об этом год назад, он захлебнулся бы смехом. Вена, по его мнению, могла поставлять миру лишь менуэты да вальсы. Однако он исправно посещал элегантную келью известного автора "Смерть до Рождения". Лежа на

холодной кожаной кушетке, со странным удовольствием слушая собственный низкий голос, он рыл ходы и окопы раскопок собственной Трои. "Теория смерти до рождения" профессора Бразье, заключалась в том, что огромное количество детей в мире рождалось случайно и против воли матери. Забрюхатевшая неудачница, нарыдавшись всласть, в зависимости от страны и эпохи тем или иным способом пыталась избавиться от закупорившего ее тело плода. Описание этих способов составляло добрую треть книги, довольно жутковатые сто с чем-то страниц. Особенно впечатляли китайские процедуры времен империи Хань. В случае неудачи, а иногда слабого здоровья матери, ее нерешительности или перемены ситуации, на свет рождался "полуабортированный", как характеризовал его профессор Бразье, ребенок — навсегда искалеченный психически. Добрых полтора десятка изощренных фобий сопровождали его взросление, оставляли на время в покое в период первой молодости и беспощадно терзали в эпоху зрелых размышлений. Полуабортированные Валентина не интересовали, он прекрасно знал, что его родители были счастливыми любовниками и он был результатом их любви. Его интересовало теперь лишь одно: мертвая собака на пустынном берегу, собака вскинувшая ноги и обнажившая червивое чрево. Валентин заклинился на этом моменте своей жизни, словно в него вбили двадцатипятисантиметровый гвоздь. Все его попытки самостоятельно сдвинуться с места, разрушить чары смерти ни к че-

му не приводили. Он прекрасно понимал случайность произошедшего, примитивный символизм ситуации, голова его удачно раскладывала на составные элементы тот солнечный день, деталь за деталью и — уничтожала. Но голова, он все яснее это осознавал, была лишь перископом сознания, наружным, почти придаточным органом. Конечно, он мог бы обойтись без профессора Бразье. В конце концов, тот же Даниэль был не глупее лощеного shrink'a. Но Даниэль был лицом вовлеченным, он напряженно думал, как ему помочь. Профессор Бразье был не только остраненно чужим, он был профессионально чужим. Чужим нарочно и специально. Поэтому хлысты его вопросов заставляли Валентина двигаться, искать, продираться сквозь заросли самообманов, подтасовок в памяти и изрядное количество витков, как оказалось, колючей проволоки самоцензуры.

Он больше не спал с женщинами. То есть, наоборот, он пытался, постоянно пытался, но из этого ничего не выходило. Он даже прожил чуть больше двух месяцев с взвинченным юным созданием, сбегавшим не то от родителей, не то из тюрьмы. Возрастная холодность Моники, полное отсутствие сексуального голода, идеально устраивали его. Она жила в стадии необязательных объятий, поглаживаний, поцелуев. У нее были мужчины и до Валентина, но она была глубоко невинна. Он покупал ей сладости и тряпки, он водил ее в кабаре и на скачки, он отвечал на ее невероятные вопросы. Лишь однажды, заметив раздосадованность его объяснением, он уко-

рил ее: — "Дурацкие вопросы обычно влекут за собою идиотские ответы. Заметь это. Пригодится когда-нибудь..." В то же время она была вовсе не так наивна, из породы барракуд, умело кокетничала с мужчинами и, стоило Валентину отвернуться, набивала карманы случайными номерами телефонов.

Он бывал у проституток, но бросил. С ними почти получалось. Их обезличенность была гениальной. Они нянчали его, отвлекали, прекрасно зная, что секс раздваивает личность, если она несчастна и соединяет ее воедино в противоположном случае. Они апеллировали не к нему, а к его увядшему отростку. В итоге, от неразрешимых возбуждений, у него началось воспаление простаты и он попал в руки урологов. Иногда он обрисовывал себе происходящее, как опускание из высших сфер в низшие. Так теперь он был на уровне обнищавшей плоти, лейкоцитных норм, унижительных анализов. Гийом, его лечащий врач, с которым они быстро подружились, уверял Валентина в противоположном. "Простата — второе сердце" — говорил он. "Психический тонус, эмоциональные бури, одолевающие мужчин, старение — все так или иначе зависит от этой железы. На Востоке это прекрасно знали две тысячи лет назад..."

Иглоукалывание, плавание, знаменитые тибетские "слезы камня", йога — ничто не помогало ему. И чем дальше задвигался его безнадежный случай, тем больше женщин валилось на него со всех сторон. Он отнекивался, он отбивался, но нет, его не принимали за гэй, и, почти против его воли, реестр

остававшихся ночевать все удлинялся. С удивлением он узнал, что нет ничего легче, чем влюбить в себя самый трудный, самый невероятный экземпляр женского пола, будучи, как он говорил, небоеспособным. Односторонняя природа секса открылась ему, одиночество и дикость. Женщины, не добившиеся его, пытались вновь и вновь, но не из-за страсти к нему, а из-за страха собственного поражения. Он был магнитом теперь, потому что был безопасен.

Смерть владела его вниманием. Он без труда обнаруживал ее присутствие повсюду. Она была не роковым порогом его личной конечной жизни, а чем-то вроде неназойливого консьержа, вуаера, клошара. Она была прочнее тленной жизненной ткани, из нее, в действительности, и состоял мир. Молния, попавшая в него, поразила его способность сопротивляться смерти физически, бежать прочь от нее в новом теле... Временами чувство бессмысленности, ненужности и бесцельности жизни пугало его своею неоспоримой силой. Он стал чувствителен к философским и религиозным идеям, но не мог справиться ни с символизмом образных систем от Упанишад до Посланий Апостолов, ни с современным пересказом, выполненным на уровне супер-маркета. Но он не думал ни о самоубийстве, ни о плоском марксовском мире. У него была интуиция агностика и языческое чувство мира.

Время шло и гнилая зима кончилась. Роман *Изы* выходил вторым тиражем и она собиралась в

Нью-Йорк — американцы купили книгу и затевали рекламную возню. Перед самым ее отъездом — стоял свежий распахнутый май — Даниэль позвонил: они устраивали обед. — Кстати, — сказал он, — новость не из веселых: вернулась Джой, у нее рак, ей дают месяц не больше...” Они увиделись. Удивительно, но она не изменилась. Быть может похудела. Но это была та же Джой! Загорелая, улыбающаяся, веселая. Позже Валентин заметил, что она двигается медленнее, что ее зрачки увеличены, словно она принимает атропин, но первое впечатление было — Джой! Не верилось, что она была больна. И лишь за обедом Валентин поверил. Она не могла есть то и это, она, правда, много пила вина, а за кофе, достав из сумки крошечную костяную табакерку, быстро заняла понюшку белого порошка... На кухне, он вышел вместе с хозяином, Иза заплакала.

В кабинете профессора Бразье Валентин бесчисленное количество раз сосредотачивался на том, что его мучило. Это было слепое тактильное ощущение. Визуальный образ, фиксация на мертвой собаке, было лишь добавлением. В тот жаркий солнечный день, в момент безрассудной счастливой любви, раскинутые ноги собаки и нежные ложесна женщины поменялись для него местами. Он вбивал себя с убывающей силой в это мертвое гноящееся нутро; он делал это ни с кем-нибудь, а с самой смертью.

Теперь, через год, в Париже, на своей неудачли-

вой постели он был опять с той же женщиной. Ее кожа все также пахла солнцем, так же коротко были пострижены соломенные волосы, ее глаза были закрыты и из-под лучей ее сморщенного глаза катилась слеза. Она была все та же, но в ней жила смерть. Не абстрактная, не спящая, которая живет в каждом человеке, а проснувшаяся, голодная, уверенная в себе. Джой была тиха и, не зная он ее ранее, он бы сказал — безучастна. Лишь пот ее имел теперь какой-то новый запах.

Для Валентина круг замкнулся. Смерть переселилась из полуразложившейся собаки в эту, в его руках беззвучно рыдающую, женщину. Для нее он был все тем же любовником — сильным и нежным; для нее его неудачи, затянувшейся более чем на год, не существовало. Но последние месяцы изменили ее. Ее страсть не отзывалась в теле никак. Он был одинок с нею, как и она с ним. Двуполоый третий был между ними. Ее глаза были широко открыты, когда он взорвался. Тень листвы дрожала на потолке спальни. Смех поднимался пузырями с бульвара и лопался, не долетев до окна. Скорая помощь тупой бритвой прошла по ее слуху.

Она умерла под Рождество. Крупные хлопья снега таяли на гранитных плитах. Какие-то дальние родственники, |выглядевшие| самозванцами, преувеличенно тупо скорбели в ожидании конца процедуры. Иза, прилетевшая из Рима, держала Валентина под руку, словно он мог упасть в могилу. Даниэля

не было, он лежал на обследовании в американском госпитале. Беспризорная собака виляла хвостом за оградой соседней могилы, не решаясь приблизиться. Валентин испытывал унижительное чувство быть временно на свободе. — Во Имя Отца и Сына... — негромко выводил священник. Снег пошел сильнее, зачеркивая белым, летя наискосок, и под его некрепким покровом исчезали каменные скамейки, круглощекие ангелы, письмена эпитафий, асфальт, дорожки, черные плечи и шляпы присутствующих и, лишь постоянно встряхивающаяся мокрая собака, выглядела живой и реальной.

Вместо послесловия

Когда-то, в той жизни, от хода нынешней крепко отгороженной зеркальной, но пуленепробиваемой стеною — то ли берлинской, то ли кремлевской, то ли китайской кладки — ранним серо-розовым утром на берегу Эвксинского Понта (переведенного, естественно, на французский в моей книге как Эвксинский Мост) наблюдал я нравоучительную сцену. Невидимая глазу небесная сакура, корявым стволом уходящая в чернозем ночи, отряхнула высоко над морем свой цвет, и на береговую линию, на грязно-лиловые складки пепельных киловых холмов, на асфальт променада, крыши прибрежных дач, а главное — в ленивые, кровью восхода напитанные, волны моря — посыпались розовые лепестки. Падая на грубую гальку пляжа, усыпая морскую даль вплоть до дальних буйков, розовые лепестки

теряли свой трепетный одолженный цвет и превращались в лимонной окраски, из набоковских запасников вывалившихся, бабочек. В течение трех минут пляж и море были покрыты этим трепещущим, на суше, и замирающим, в волнах, сухим снегом. Десант этот, эта перелетная туча, по звездам, при огарке луны, проделал путь через море, из Турции, а до этого, быть может, из Северной Африки, чтобы невесомо рухнуть на коктебельский пляж и на три четверти погибнуть.

Эта сцена со свистом реактивного истребителя вернулась ко мне однажды зимним днем на американском берегу Атлантики. С океана шли шеренгами хоккусаевские *воины* и гибли, разбиваясь о деревянные сваи широкого прогулочного настила. Кони-Айленд издали бахвалился своей железной арифметикой: нулями чертовых колес, опрокинутыми тройками русских гор, решетчатыми единицами то ли парашютных вышек, то ли виселиц. Одесский пенсионер, закутанный в ватное моссельпромское пальто, с заячьей шапкой на оттопыренных пунцовых ушах, небритый и овеванный сигаретным дымком, лежал, пуская слезу, в шезлонге. Свист реактивного посланца из прошлого оборвался отрывкой взрыва, и круглая, как из прошлого века, черная бомба, мягко подскочив на досках брайтоновского променада, разорвалась радужной сценой коктебельского утренника. Взрывная волна того воспоминания контузила меня надолго, и время от времени

я с содроганием разглядываю, как облезшие стру-
пья рыбной лавки на углу улицы Дня и Монмартра
вдруг превращаются в гирлянды мокрых, вздраги-
вающих лимонниц.

Я вижу их в жизни, в ином облачении, мучни-
сто грузных на том же Брайтон Бич — все еще по-
харьковски, или же по-ростовски одетых, розово-
щеких от океанского ветра переселенцев. И они рух-
нули на это дугою выгнутое побережье Америки,
лишь завидев после толстой наморщенной океан-
ской кожи первый кряж суши. Встречал я их и там,
где Свобода оmyвается несвободой, в Вене, все еще
тяжело дышащих, с воспаленными глазами и одыш-
ливыми рассказами. Долетевшие до Парижа, до Ко-
пенгагена или Осло чувствуют себя быть может чуть
лучше, но, что ни говори, крылья их потрепаны и
местами просвечивают. Одним — повезло с ветром,
другие, в беспомыслии, рухнули на крышу проез-
жавшего сельской дорогой школьного автобуса.
Причуды воздушных путей занесли и бросили оди-
ночек с небесных высот в крупным планом вдруг
надвигающиеся сонные деревни, в заросшие пыль-
ной сиренью и сплетнями города, в горные поселе-
ния, вдруг оборачивающиеся дюжиной, круговой
поручкой звездных миллионов сбитых вместе вилл
нашпигованных до крыш электроникой и антиквар-
иатом. Короче, на Брайтон Бич, разглядывая раз-
ряженный, протянутый мне полицейским, 38-го ка-
либра Смит & Вессон, я понял, *что отныне пишу для*
унесенных ветром. Дабы убрать застывшего, было,

Атлантику копа*, замечу, что мы изучали на пару фауну прибрежных ресторанов...

Вспоминается мне и продолжение коктебельского сна — тот же день, но уже с подтеками заката и легким восточным ветром — низовкой, как его называют местные рыбаки. Пока слух пытается справиться с искореженной музыкальной фразой, настойчиво повторяемой невидимым тапером, зрение упирается в воистину гофмановского кота из писательской столовки. Отъевшийся на котлетках по-пушкински, зверюга лениво играет с полураздавленными тварями: он то подносит к детскому своему ротуку с прикушенным языком трепещущее крыло, то брезгливо отдувается, стараясь избавиться от приставшего к лапе элерона. Местная публика, несмотря на жару, в воду не входит — потемневшие лепестки крыльев образуют сплошную ряску. И лишь безногий инвалид, заплыв метров на пятнадцать, качается на волнах отрубленной головою вождя — сходство, особенно в лучах низкого солнца, разительное.

Зачем они оставили берег Африки? Розовые дюны и слоистые, как американские ликерные коктейли, закаты? Что подняло их в воздух — ветер какой надежды или тревоги? Я не любитель массовых выступлений, забегов, заплывов, перелетов. И все же, я пытаюсь понять их общее утомление... И тогда,

* Полицейский.

завидев финиш, эту зазубренную бухтами утреннюю землю — стоило ли рушиться вниз в восторге изнеможения? Ведь до Библейской долины оставалось не больше тысячи взмахов крыльев...

СОДЕРЖАНИЕ

Вальс для К.	5
Петр Грозный	53
Музыка в таблетках.	70
Западный берег Коцита	81
Лора.	99
Бодлер, стр. 31	118
Вместо послесловия.	151

